

ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Эйвинд Юнсон

Зимняя игра





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Eyvind Johnson

Эйвинд Юнсон

Зимняя игра

Рассказы

Перевод со шведского

Составление С. Белокриницкой

Предисловие К. Мурадян

Москва
«Известия»
1986

И (Швед)
Ю 56

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент Б. Ерхов

Обложка художника В. Освера

© Оформление, перевод на русский язык,
составление и предисловие издательство
«Известия», журнал «Иностранная лите-
ратура», 1986

Эйвинд Юнсон и его путешествия длинною в жизнь

С именем Эйвинда Юнсона (1900—1976) связана целая эпоха в шведской литературе. Он из поколения писателей пролетарского происхождения, выступивших в 20—30-е годы,— Юсефа Челльгрена, Вильгельма Муберга, Харри Мартинсона, Ивара Лу-Юхансона, которые продолжали традиции шведского социального реалистического романа.

Биография Юнсона — типичная биография пролетарского писателя, ровесника века. Сын норрландского каменщика, спасаясь от нужды и безработицы, от «летаргического сна северной провинции», он в молодости исколесил вдоль и поперек всю Европу, освоил многие далекие от литературы профессии — сплавщика леса, пильщика, истопника, трубоукладчика, киномеханика. Впечатления этих драматических и все-таки счастливых приключений молодости легли в основу автобиографического цикла под названием «Роман об Улофе» (1934—1937), который выдержал множество переизданий и был экранизирован.

Юнсон — автор многих сборников новелл, дневников, эссе, антифашистских романов «Ночные маневры» (1938), «Возвращение солдата» (1940), трилогии «Крилон» (1941—1943). Особое место в его творчестве занимают исторические романы, которые широко известны на родине писателя и за ее пределами, переведены на многие языки. Юнсон был удостоен высоких литературных наград, в том числе Нобелевской премии (1974) за «эпические путешествия в глубь истории в поисках идеала гармонии и свободы».

Жанр исторического романа привлекал писателя, по его словам, неограниченностью времени и пространства, возможностью свободно оперировать фактом и вымыслом, сочетать документы и фантазию. «История, отдаленная от нас веками и тысячелетиями, хранит немало тайн. На материке истории — свои темные пятна, мертвые зоны. Но я

слышу голоса, обращенные к нам из прошлого. Всегда, во все времена люди страдали от голода и стихийных бедствий, от болезней и войн, от взаимной нетерпимости, жестокости, тирании, насилия. История — это путь постижения современности», — утверждал Юнсон в одном из интервью.

История и миф, легенда и притча обогащались личным опытом писателя. Так, мотив странствий — лейтмотив его собственной жизни, звучащий в новеллах и автобиографических произведениях, — возникает в романах «Гул берегов» (1946), «Тучи над Метапонтом» (1957). Сопоставляя разные эпохи, судьбы, картины войны и мира, Юнсон напоминал о преступлениях нацизма, утверждал вечную, неистребимую красоту жизни.

Параллели истории и современности возникают и в романе «Эпоха его величества» (1960) — хронике империи Карла Великого (742—814), могущественного государственного деятеля средневековья, в результате многочисленных походов и войн сосредоточившего под своей властью огромные территории, на которых возникнут позднее Франция, Германия, Италия.

В «кровавых военных играх», в «жажде осквернять, сжигать, уничтожать, истреблять жизнь» писатель увидел модель, повторяющуюся в истории, но обреченную на крах. Рушится империя, построенная на человеческих страданиях и жертвах. Примечателен эпиграф к роману: «Человек, сам того не ведая, обитает на осиновом листе, — небезопасное пристанище. Но это его дом, родина во вселенной, — осиновый лист...»

Вечен человек, бесконечно его «путешествие длиною в жизнь». Он может стать жертвой и преступником одновременно, марионеткой, управляемой роковым стечением обстоятельств, попасть в западню, сооруженную собственными руками. Он устремляется за таинственным, вечно ускользающим призраком любви — «кратким, недостижимым земным раем», путешествует по векам и странам, переодевается в разные костюмы, скрывается под разными

именами и масками, пытается «вырваться из плена настоящего», спастись в прошлом и будущем, отгородиться от личных и вселенских катастроф. Реминисценции и фантазии, сложные сюжеты и символы — не просто эстетическая декорация. В романах «Мечты о розах и огне» (1949), «Путешествие длиною в жизнь» (1964), «Несколько шагов в тишину» (1973) — последнем произведении писателя, пессимистически изображая некоторые исторические и психологические конфликты, Юнсон пытался осмыслить прежде всего события современности, предостерегал от трагических повторений прошлого.

Первые литературные опыты Юнсона относятся к жанру новеллы. В ранних сборниках «Четыре чужака» (1924), «Город тьмы» (1927), «Город света» (1928) чувствуются некоторые художественные влияния, подражания Джойсу, Прусту, Томасу Манну, Горькому, перед которым Юнсон особенно преклонялся, а образ Данко называл «прекрасным и незабываемым». В поздних сборниках «Надежная обитель» (1940), «Романтическая повесть» (1953), «Зимние путешествия по Норрботтену» (1955) он выступает уже как самобытный мастер, художник-реалист.

В сборник «Зимняя игра», впервые знакомящий советского читателя с творчеством Эйвинда Юнсона, включены произведения 30—40-х годов, отобранные самим писателем в наиболее представительную книгу его новелл «Семь жизней» (1944). Они были созданы в пору преодоления шведской литературой ощущения своей так называемой «северной провинциальности». Отчасти это ощущение было продиктовано особым историческим и политическим опытом Швеции, ее многолетним нейтралитетом, ее благополучием на фоне Европы, охваченной пожаром второй мировой войны, своего рода комплексом вины перед историей.

Как и другие шведские писатели — Пер Лагерквист, Вильгельм Муберг, Карин Бойе, наделенные особой остротой социального видения, Юнсон разглядел реальный облик фашизма, предупредил о его угрозе для всего чело-

вечества, знал его конкретный адрес и призывал к сопротивлению даже в своей не воюющей более века стране.

Новеллы Юнсона, связанные с темой войны, сдержанны, эмоционально скупы.

Стена, отделяющая Швецию от «другой Европы», — тема новеллы «Магнус и Улле». Транзитом, в суете и спешке, проносятся по маленьким железнодорожным станциям Норрботтена странники, гонимые войной, ища спасения и приюта в мирной стране. И уже не понаслышке, не из газет и радиосводок, а воочию перед жителями «окраины Европы» встает страшный облик войны. Вот они — беженцы, калеки, вот она — волна страдания, отголоски катастрофы, от которой невозможно отгородиться. Мрачен, беспощадно резок отталкивающий облик мародера и хищника Магнуса, который беззастенчиво наживается на войне, на чужой беде, а человеческую жизнь оценивает в сто крон.

В глухую провинцию забросила судьба чужака — героя новеллы «Тридцатые годы, канун рождества». Его появление, непривычная внешность и манеры вначале отпугивают живущих вдаль от ужасов войны жителей «лесной стороны», с деревенской обстоятельностью готовящихся к традиционному празднику. Странник — беженец из концлагеря — не призрак, а вестник из того реального мира, где людей преследуют и убивают, того «страшного мира», который неведом им, одурманенным официозной газетной ложью. И именно он, чужеземец, одинокий, бесприютный, беззащитный, как щепка, выброшенная кораблекрушением в «пучину жуткого хаоса», помогает духовному и нравственному прозрению благополучных оседлых деревенских жителей. Они, грубоватые, немногословные, по-своему гостеприимные, начинают понимать, что в стране, из которой спасается бегством «доктор по книгам, ученый чудак», все не так, как пишут газеты, даже если там «чистота и порядок и поезда ходят по расписанию».

Как и в других ранних произведениях, в новеллах Юнсона преломился его собственный жизненный опыт. Автобиографические черты угадываются в герое новеллы

«И снова лето — и снова осень». Смерть жены — точка отсчета его переживаний и размышлений. Он проводит лето с сыном в горах, недалеко от шведской границы, в Норвегии, погруженный в свои воспоминания. Боль утраты как бы отгораживает его от происходящего вокруг. И все же всеобщая человеческая трагедия — война, заглушает его личную драму. И никакая граница и даже ощущение собственной защищенности не могут заслонить его от «тревоги, страха перед будущим, беспокойства за судьбы мира».

Странствуя по дорогам Скандинавии, Англии и Германии, Франции и Швейцарии, писатель повстречал немало бездомных, нищих, бродяг, выброшенных за борт обществом, охваченным кризисом и безработицей. Их колоритные фигуры возникают в краткой зарисовке «На новой дороге». Старый бродяга философски воспринимает свой удел, утешая себя тем, что ему открыт весь мир, он в вечном движении, у него нет заданной цели, конечной остановки, он по-своему абсолютно свободен, он — вольная птица, витающая в заоблачных высях, типичный странник из древних легенд и сказаний. Молодой бродяга, напротив, проклинает неуют беспризорности и скитаний. Он ищет работу, чтобы сбросить тяжкое бремя бродяжничества.

Этой небольшой аллегорической притче близки по интонации и новеллы, объединенные единым сюжетом, — «У Хагелей в цирке» и «Оскудел силой Бурелль», психологически достоверные картины жизни бродячих циркачей, с их жестокой каждодневной борьбой за существование, с семейными неурядицами, своеобразным кочевым бытом и нравами. Цикл Юнсона о бродягах напоминает фильм Федерико Феллини «Дорога» — пронзительной грустью, щемящим настроением бесконечности пути, надежд и иллюзий.

Бескорыстной романтической стихии странствия, подлинным человеческим тревогам и страданиям противопоставлен циничный мир дельцов, где отношения строятся по банковскому счету, в зависимости от надежности вклада и процентной выгоды. И никто из персонажей «радио-

пьесы в форме новеллы» «Зимняя игра» не вызывает сочувствия и симпатии — ни изнывающие от душевной пустоты молодые бизнесмены типа Улле Хольдинга и фру Линделль, ни патологический скопидом старик ростовщик Кульманн.

Скромным, кротким мечтам о семейном очаге, о тишине и покое после всех заблуждений молодости предаются герои новеллы «Дни ее тревоги». Но в будничную, прозаичную повседневность внезапно врывается романтическая иллюзия, вспыхнувшее воспоминание любви, опрокинувшее все трезвые расчеты. А в судьбе третьего персонажа — Эмиля, вернувшегося из Америки на родину умирать, — отголоски трагической судьбы шведских эмигрантов, в конце прошлого века устремившихся в «страну обетованную», но не обретших себе места на чужбине.

Новеллы Эйвинда Юнсона — лишь часть его литературного наследия, одна из граней его творчества. Малый жанр был для писателя не только началом биографии, школой мастерства, «репетицией» к монументальным полотнам, но и позволял живее откликаться на происходящее. В небольших, порой бегло очерченных эпизодах, в коротких набросках с натуры, в переплетениях человеческих характеров и судеб Юнсон создал хронику современности. За лаконичной, типично скандинавской аскетичной манерой повествования — широкий социальный и этический фон, психологическая глубина, необозримые горизонты жизни, исторические и нравственные драмы.

К. Мурадян

у Хагелей в цирке

Шел десятый год с того дня, как Олли вышла за акробата Германа Хагеля, когда семейство Хагелей в своем большом фургоне прикатило в маленький поселок — такой маленький, что он легко уместился бы в кармане у господ бога. Прибыли Хагели на место рано поутру, поселок еще спал. Однако глава семейства Исак, отец Германа, вдвоем с семидесятивосьмилетним дедом Себастьяном, прародителем всех здравствующих Хагелей, легко отыскали и привели в порядок старую цирковую площадку, откуда, кстати, лишь накануне убрали карусель Вальберга да шаткие воздушные качели тетушки Брант, и когда Олли проснулась, Герман с Исаком уже успели вбить столбы в жестко утрамбованную землю, а Хагель-старший нашел конюшню для обеих тощих кляч.

Олли глубоко вздохнула, перевернулась в постели на другой бок и попробовала снова уснуть. И может, ей это и удалось бы, если бы только дети — младшие Герман и Олли, а также младшие Исак и Александра, — рвавшие из тесного фургона на волю, не подняли такой чудовищный шум, что ей пришлось встать и выпустить их за дверь. Солнце ослепило ее. Когда она привыкла к резкому утреннему свету, она увидела Германа — тощая фигура его шаталась под тяжестью палаточных мачт, которые он непременно хотел поставить без чьей-либо помощи. Зрелище было не из отрадных. Казалось, острые лопатки Германа вот-вот прорвут тонкую фуфайку; голые руки, хоть и жилистые, были тонкие, грязные; худые ноги дрожали от напряжения, а затылок Германа — истинное средоточие его силы — сделался совсем багровым.

Олли стало противно, и она отвернулась. За спиной ее, в глубине фургона, сидела жена Исака — Александра, в прошлом цирковая наездница, и натягивала на себя чулки, по давней привычке почесывая распухшие, со вздувшимися венами, ноги от ступни до самого бедра, а кончив чесаться и надев узорчатые чулки, стала выщипывать у себя волоски и хриплым сонным голосом осведомилась, есть ли где поблизости вода.

Олли не стала ей отвечать. Она снова принялась разглядывать все окрест и видела, как из-за фургона вышел старик Себастьян, прародитель всех здравствующих Хагелей: еще больше обычного сгорбленный, он пытел под тяжестью брезента, свернутого тюком; с клочковатой бороды прародителя капала слюна; поймав его страдальческий взгляд, Олли впервые за все утро улыбнулась.

— А девочка-то наша уже на ногах! — проговорил старик голосом, которому силился придать веселость, утреннюю бодрость, но тяжелое, прерывистое дыхание почти заглушило его слова. Олли и в голову не пришло, что ему требуется помощь, но она как бы выросла в собственных глазах оттого, что участливо глянула на старика. А тот давно уже ни на что не годился и хоть подсоблял помаленьку то тут, то там, но старания его в расчет не шли оттого, что он ел за троих. Осталась у него такая привычка от времен бывшего величия. Когда-то прародитель держал свой зверинец и выучился у зверей есть сырое мясо, а позже, когда сын его Исак стал директором Большого Цирка Хагелей, на попечении старика, помимо лошадей, оказались еще и лев с тигром, и по большей части он делил с ними пищу. Старик преклонялся перед сыном и не считал даже лишним выказывать уважение второй жене Исака — Александре, от которой ему нет-нет да и перепадали какие-нибудь гроши. Исак некогда воспарил к славе как создатель труппы ковбоев, но рухнул вниз вместе с первой своей женой, матерью Германа.

Подробный пересказ всей истории занял бы слишком много места. Скажем лишь, что первая жена Исака, воздушная

гимнастка, влюбилась в своего партнера, а когда Исак, в ту пору и у себя дома ходивший гоголем, накинулся на нее с попреками, она в вечер премьеры при переполненном цирке не то сорвалась из-под купола, не то спрыгнула вниз. Кто-то вспорол две петли в предохранительной сетке. Вместе с этой женщиной рухнул и Исак. Что-то повредилось у него в голове, а когда он в один прекрасный день пришел в себя, ему вдруг открылось, что он сидит на облучке семейного фургона и колесит с ним по всей стране: по левую руку у него Себастьян, по правую — Герман, а внутри самого фургона — Александра с двумя своими ребятишками и Олли со своими двумя. Тут он сощурил свои черные глаза и надолго погрузился в задумчивость, только понукал лошадей. А когда он снова разомкнул веки, то увидел, что время сделало свое дело, и сам он постарел, а Себастьян и вовсе превратился в старика, который требовал заботы, хоть по-прежнему очень много ел и изо рта у него вечно текла голодная слюна; он увидел, что Александра — уже немолодая женщина, которая наряжается как только может и при каждом случае увивается за мужиками, да еще способна часами перемывать кому-то косточки и переливать из пустого в порожнее, и понял он, что его сын Герман — человек без руля и без ветрил, который так и не удосужился как следует выучиться ремеслу, но притом мечтает сам когда-нибудь стать директором цирка; величайший подвиг его и величайший грех — то, что он добился любви крошки Олли и сманил ее с собой.

И тогда мудрый Исак снова закрыл глаза и снова стал колесить по стране в этом фургоне, как-то уцелевшем при разорении, в фургоне, на котором, как и на залатанном полотне шапито, красовались черно-золотые буквы, однажды выведенные им самим в счастливый день и в счастливый год:

БОЛЬШОЙ ЦИРК ХАГЕЛЕЙ

Олли знала, что гвоздь программы — она. Герман висел на трапеции головой вниз, вертелся на перекладине, случалось, вертелся даже на одной коленке, на одной руке, повисал

будто дохлая рыба над бездной цирка, вцепившись зубами в кожаный ремешок и уронив руки, иной раз висел, держась за трапецию пальцами ног, висел и на подбородке, наконец, делал стойку под крышей шапито, которую Исак упрямо продолжал именовать куполом цирка. Но все равно гвоздем программы была сама Олли, хоть она никоим образом не могла сравниться в мастерстве с Германом. Уж очень она была хороша. Сидит, бывало, болтая ногами, на трапеции, которую держит зубами Герман, висящий на перекладине в самом верху, — случалось, и она пыталась повиснуть на подколенках головой вниз, но всякий раз при этом цеплялась за палку руками и лицо выдавало ее испуг. Но уж очень она была хороша. Волосы золотистым облаком осеняют прелестную головку, ярко сияют ясные синие глаза, узорчатое трико поблескивает на точеных руках и ногах будто змеиная кожа. Кто поверит, что ей уже двадцать восемь — ее впору принять за ангела, не будь она такой мастерицей ругаться.

А все прочие номера в цирке Хагелей — самые что ни на есть заурядные. Лошади ни на что не годны — всего лишь тягловая сила, и хотя Герман показывает фигурное катание на велосипеде, Исак ведет клоунаду — вдвоем они кое-как держат программу, но сборов больших не дают. Однако жить можно, и Герман лелеет мечту, при всех обстоятельствах не столь уж и несбыточную. Он хочет иметь собственный цирк. А пока что жить можно. Наверно, можно бы и получше жить, не пожирай Себастьян такую пропасть всякой снеди, — ведь в здешних городках и поселках в кассе у Александры да и в загашнике Исака подчас набиралось немало блестящих звонких монет.

Себастьян поглядел на ясное небо и сказал:

— Нынче вечером публики будет много!

Он походил на старого крестьянина, толкующего о погоде, и глаз у него на этот счет был наметанный, ничуть не хуже, чем в дни былые, когда он укрощал змей. Александра всегда полагалась в этом на старика, и тут она сразу

же полезла в фургон — прихватить в награду Себастьяну крону да заодно поканючить у Исака денег на новое платье. Но Исак и бровью не повел. Может, из заглазника кое-что взять? — продолжала гнуть свое Александра. И снова Исак и бровью не повел. Зато Себастьян тут же послал Германа-младшего в поселок за говядиной, а когда ее принесли, старик разрезал ее на тоненькие кусочки, посыпал солью и съел все мясо сырым. А вечером и вправду собралось много публики.

Для Олли такие вечера были не в диковинку. Придут зрители, увидят большое шапито и броские афиши Исака, Германа (который повсюду упорно показывается публике), разряженную Александру и улыбающуюся Олли, так уж непременно купят билеты и набьются в цирк. И никто не станет хулить представление, покуда Олли такая, какая она есть.

Единственный из всего семейства, кто до поры до времени не показывается публике, это Исак. Он прячется в проходе для артистов до самого начала спектакля, но потом выходит на арену и держит речь. Исак, обычно такой скупой на слова, произносит длинные речи, обращенные к чужим людям, а перед спектаклем собственноручно изготавливает броские афиши и всегда снабжает их завлекательной подписью.

Ни на шаг не отлучается он от дома.

Зато Герман днем разгуливает по поселку, бросая на встречаемых женщин пылкие взоры, которые ровным счетом ничего не означают — он просто печется о своей популярности. Есть у него такая слабость. А Себастьян обходит местные кафе, иной раз прихватив с собой свое банджо, потренькает немножко то тут, то там — и его, случается, угостят рюмкой вина, а то и монетку подкинут, и тогда старик отправляется к мяснику и приказывает:

— Говядины мне, да посвежей!

Александра — та нынче утром пыталась намекнуть мужу, что, мол, не худо бы обзавестись новым платьем, но, не получив ответа, тоже ушла бродить по поселку да перемигиваться с мужиками, один бог знает, где ее искать.

Вот Олли и осталась одна в фургоне, сидит и думает: «Когда только все это кончится?»

Как всегда, приходит Исак. Садится рядом.

— Деточка,— шепчет он,— эх, деточка!

Он долго глядит на нее своими черными глазами и под конец грустно усмехается. Затем он идет в шапито и рисует там новую афишу — каждый день новую, теперь ведь и на краски есть деньги,— а потом в цирк забегает Олли и дарит его улыбкой:

— Ох, как хорошо!

От этого Исак приосанивается, как юноша, и по обыкновению растроганно произносит:

— Знаю, деточка, знаю!

Чуть погода, однако, Олли снова сыплет бранными словами, а Исак горестно молчит; вернулась домой Александра и стала хвастать, что все мужики пялят на нее глаза, и, уж конечно, не преминула сказать — мол, не худо бы и приодеться.

— Может, оттого мужики пялились, что испугались тебя? — спросила Олли.

Тут и Герман тоже вернулся и завел речь о своей популярности в здешнем поселке. Ее уже слышно, популярность эту,— скачет босоногая вокруг шапито, опасливо приподнимает брезент, видит Исака с его афишей, а все равно забирается внутрь и начинает перескакивать со скамьи на скамью. Возвращается, наконец, и Себастьян, дело, знать, идет к обеду, и видит эту самую популярность — а зря, что ли, у Хагелей он вроде вышибалы.

— Ублюдки чертовы! — вопит он.— Ну погодите!

Но никто из поселковых ребяташек не хочет «годить» и вообще иметь дело со стариком, у которого так противно капает изо рта слюна.

Но Себастьяну все же не терпится показать свою удаль, и он прогоняет малышня — по крайней мере думает, что прогнал. И вдруг замечает в кругу чужих детей младших Германа и Исака, Олли и Александру.

— Пойдите сюда! — лукаво заманивает он их.— Конфетками угощу!

Герман-младший остерегает поселковых ребят:

— Берегитесь! Нынче проклятый дед нажрался мяса и совсем спятил!

После обеда Исак уселся на оглобле фургона и закрыл глаза. Он работает. Александре ведомо, что в такие минуты Исак «изобретает», а когда Исак «изобретает», все, должны умолкать.

Герман улегся спать в фургоне и захрапел. А Исак вдруг вскричал: «О-го-го!» Никто ни о чем его не спросил. Ясное дело: Исак «изобрел» что-то, и не сегодня — так завтра всяк увидит это на арене.

Скромный, очень скромный золотой дождик! Еще только раз суждено старику, предку всех здравствующих Хагелей, напроорочить, глядя на небо, что вечером не будет отбою от публики, и за это получить свою мзду. Но только еще лишь раз. На горизонте уже прочертилась тень другого фургона, он катит сюда напрямиком из ада, и сидят в нем мастера вольной борьбы Армстронг-Джулиус и Эйно.

Проснувшись поутру, Олли сразу поняла: что-то случилось. Она была в фургоне одна, сквозь его прохудившуюся крышу виднелись клочки синего неба. Снаружи доносились голоса, там ругались вовсю, и Олли торопливо отдернула тряпку, служившую занавеской, и выглянула в окно.

Герман, Исак, Себастьян и Александра стояли лицом к лицу с двумя дюжими молодцами. У одного — могучая шея, большие руки, узкие свинячьи глазки и белесые космы волос; другой — молодой человек лет тридцати, и когда он вскинул голову, Олли сразу узнала его: это был друг ее ранней юности Юлле Андерссон, ныне, стало быть, Армстронг-Джулиус, профессиональный борец.

Позади горстки людей высился новый полотняный шатер, за ночь выросший в такой близости от хагелевского шапито, что мог воспользоваться теми же столбами. Тут Армстронг-Джулиус снова вскинул голову, и Олли, поспешно отпрянув от окна, задернула тряпичную занавеску.

— У, дьяволы! — крикнул Себастьян. Сжав трясущиеся узловатые руки в кулак, он размахивал ими перед самым носом у борцов.— Неужто господа не могут подыскать себе другое место!

Исак только сверкнул черными глазами — верный признак гнева, а Герман всем своим тощим телом подался вперед, будто готовясь бодаться, и забормотал что-то такое про бесчестную конкуренцию; наконец раздался громкий негодующий голос Александры:

— Да как только вам не стыдно, совести у вас нет! У нас, артистов, знаете, не принято наступать друг другу на пятки! Удивляюсь, как это вы еще не захватили наш вход! А сейчас давайте отсюда...

— Давайте!..— повторил Себастьян, а сам глазами искал поддержки сначала у Александры, даже и не глядевшей на него, затем у Исака, который уже сомкнул веки и явно что-то «изобретал». Борцы возвратились в свой полотняный шатер, а Исак с семейством — в свой. Александра была оскорблена до глубины души, Герман зол как черт, Себастьян голоден и испуган, а Исак встревожен. Вечером Олли ненароком застала его в фургоне: он отпер большой сундук и вынул оттуда коричневую шкатулку, где хранил сбережения труппы,— Исак подсчитывал запас.

Поселок был такой крохотный, что весь уместился бы в кармане господа бога, а и тот невелик. Пять вечеров подряд публика смотрела в глаза маленькой Олли, и сказать по правде, в цирке у Хагелей больше не на что было смотреть. Герман, жилистый, тощий, не покори́л своим обаянием ни одной зрительницы, и ничье сердце не замирало от волнения, когда он выходил на арену — кроме, разумеется, его собственного,— а уж шутки Исака всяк мог бы отыскать в юмористическом журнале. И кого порадуют обрывки мелодий, которые кое-как извлекают из банджо старческие пальцы Себастьяна...

Армстронг-Джулиус и Эйно дали объявление в газете и расклеили повсюду типографским способом отпечатанные

афиши, дабы люди видели, что и впрямь за какие-нибудь пять вечеров решится исход борьбы за первенство Европы; мало того — оба борца, будучи людьми современными, пустили на продажу во всех кафе и табачных лавках абонементы в свой цирк, тем самым обеспечив себе публику на все пять представлений. И к тому же атлеты сверх программы заручились такой сенсацией, как выступление шведско-американского короля баяна Джеффа А. Джаделла — расфранченного под янки родного брата Юлле Андерсона.

Народ, понятно, валом повалил к борцам, а уж Хагелям, само собой, досталось совсем немного зрителей.

В тот вечер Себастьян не получил обычной награды. Хагели сидели у себя в фургоне и молча главели друг на друга — так долго, что под конец Александра не вынесла этой каменной тишины. Ее честь артистки оскорблена, сказала она. Ей стыдно сидеть у кассы в нищенском платье этакой тощей коровой и смотреть, как зрители, ухмыляясь, проходят мимо.

Следом за ней и Олли раскрыла ротик, и из него посыпались разные скверные слова. Что до меня, заявила она, то мне и вовсе неохота выступать перед пустым цирком, а что он пустой — так того и следовало ожидать.

Тут взбеленился Герман. Он велел жене заткнуться, коль скоро она ничего не смыслит в деле, да она и вообще ни в чем не смыслит — только и умеет, что браниться да вертеть задом перед всякими проходимцами.

Себастьян выжал из своего банджо несколько тоскливых нот и не посмел что-либо предсказать на завтрашний день.

А когда все кончили говорить, у Исака уже была готова придумка. От его слов Герман сделался бледен как мел, но иного выхода не существовало: Исак предложил, чтобы Герман попросту вызвал обоих борцов на поединок — здесь, в цирке Хагелей, и можно не сомневаться, что цирк будет набит битком.

Все умолкли, даже Александра. Олли, не таясь, рассмеялась, ее подмывало высказаться, но ее остановил взгляд

Исака, тот самый, которым он смотрел, когда с ним заговаривали о запасе, что, мол, не худо бы взять из него,— взгляд такой погасший, усталый, что она осеклась. А Герман был зол или, может, просто напуган донельзя, и коль скоро сам он не мог предложить ничего лучшего, ему оставалось лишь смолчать, как, впрочем, и остальным домочадцам.

На другой день Себастьян уставился на небо с таким радостным ожиданием во взгляде, что Александра выдала ему полкроны, и старик, повесив на плечо свое банджо, тут же зашагал в поселок. Туда же подался и Герман — популярности ради, сказал он. Следом за ними, раздевшись в пух и прах, исчезла и Александра, а вскоре ушел и Исаак — расклеивать афиши. Олли оставили одну с детьми, и они скоро надоели ей. Олли не любила своих детей, которых, как она считала, Герман ей навязал, а с обоими отпрысками Исака и Александры она просто не могла сладить. Да и пострелята завели обычай звать ее по имени, мамой же называли Александру.

Сидит Олли в фургоне после обеда, и такая накатила на нее сонная одурь...

Солнце пекло нещадно, за драной оконной занавеской жужжали и рвались наружу мухи, а Олли все думала и думала. Когда Олли думала, ей всегда становилось грустно, потому что всякий раз она вспоминала свою жизнь до встречи с Германом. И Юлле Андерссона она вспоминала, и других тоже. Олли мечтала стать актрисой, и тут появился Герман. Он казался ей таким эффектным мужчиной: тонкие черные усики, белые зубы, темные глаза, приятный голос и гибкое тело, и — пропала Олли. Герман клялся, что будет носить ее на руках. А нынче она в основном висит между небом и землей — в пору ангелом стать.

Она, может, и стала бы ангелом, будь у нее приличное платье. Но Хагели были так бедны, а тут еще Герман тратил все причитавшиеся ему деньги на нарядные трико, сам-то ходил франтом, да и Александра наряжалась вовсю,—

тот и хозяин, у кого в руках касса. Другое дело Исак. Исак — это Исак, а Себастьян — это Себастьян. Олли любила красиво одеваться и часто, а может и всегда, мечтала о нарядах. Вот и сейчас она закрыла глаза и сквозь дрему размечталась о них, но, очнувшись, первым делом увидела свое платье, которое давно уже просилось на свалку. Все в пятнах, грязное, потертое, мятое, да и вышло из моды — нет, ни за что в жизни Олли больше его не наденет, уж лучше запрется в фургоне и никогда уже оттуда не выйдет! Все вокруг сделалось ей противно, из глаз у нее брызнули слезы. Но она никогда подолгу не плакала, слезы всякий раз вызывали у нее злость, а от злости ей не сиделось на месте. Олли вскочила и стала смотреться в зеркало, и за этим занятием, возвратясь домой, застал ее Исак.

Он внимательно взгляделся в ее лицо и, увидев на нем густой слой пудры, подался вперед и стал разглядывать ее еще пристальнее. Олли знала, что он сейчас скажет,— именно это он и сказал:

— Эх, деточка, деточка!

И тут Олли рассмеялась:

— Сейчас мы с тобой выпьем кофе!

Исак писал афишу.

Он писал акварельными красками на большом куске картона, а когда он кончил работу, Олли должна была ее похвалить, не то Исак непременно бы огорчился.

С афиши смотрела фигура, изображавшая Германа, но Германа иного, чем в жизни,— с огромными шарами мускулов на руках и пышными черными усами; под этим стоял лихой текст. В нем сообщалось, что Человек со Стальной Дланью — Герман Вальтер, новая звезда цирка Хагелей — вызывает на поединок чемпиона Европы по вольной борьбе, и поединок этот состоится здесь, в цирке, нынче же вечером, в 8 часов 15 минут.

Коротко и ясно.

Коротко и ясно, спору нет, но Олли успела заглянуть Исаку в лицо.

В глазах его мелькнуло отчаяние, а лицо исказила гримаса, которую он постарался превратить в улыбку, и, так и не проронив ни слова, побрел к фургону. Скоро он возвратился со свертком в руках, который бережно развернул — то был его старый, траченный молью, директорский фрак.

— Погладишь его, Олли? — тихо спросил он, и взгляд его обжигал — так смотрел он всякий раз, подолгу просидев перед этим с закрытыми глазами, а Александра в это время воображала, будто муж что-то изобретает.

Во всякую трудную пору Герман всегда полагался на своего отца.

Как ни оценивай выдумки и афиши Исака Хагеля, одно не вызывало сомнений: они привлекали публику, и, склонившись перед очевидностью, Герман накупил ваты, отыскал в гримерском ящике все, что ему требовалось, и превратился в Человека со Стальной Дланью.

Когда в начале представления Исаак взошел на помост в старом фраке и белых перчатках, на манишке его сверкала булавка с таким ослепительным поддельным бриллиантом, что публика и не подумала взглянуть на его обувь. Играя булавкой, он улыбнулся, прокашлялся и произнес одну из самых лучших своих речей, которой истинно увлек публику, а Себастьян, слушая его, только облизывался, будто пес у входа в мясную лавку.

Суровые нынешние времена предъявляют большие требования к артистам, начал Исаак и далее осветил опасности, угрожающие жрецам искусства. И все же с недавних пор, продолжал он громко и звучно, наш цирк, разумеется за огромные деньги, пригласил к себе чудо природы — Железного Человека, именуемого также Человеком со Стальной Дланью. Разумеется, любому культурному зрителю известно имя Германа Вальтера. Почтенная публика, конечно, помнит, что Вальтер бросил вызов чемпиону Европы по вольной борьбе; поединок должен состояться здесь нынче вечером, и господин Вальтер надеется, что его соперник, то бишь соперники не побоятся принять вызов и вскорости пожалуй-

ют сюда. В ожидании их прихода господин Вальтер будет рад показать публике свою силу.

Такие слова берут за душу. Тут-то и произошло явление Германа народу: в лучшем своем трико, обильно подбитом ватой на руках и плечах, он возник на арене и под треньканье банджо, на котором наигрывал Себастьян, принялся одну за другой поднимать стокилограммовые гири из дерева, выкрашенного в черный цвет,— творение самого Исака, легко жонглируя ими, затем делал паузу, снова предоставляя возможность отцу произнести небольшую речь. Исак тянул время, рассказывал анекдоты, а когда он кончил, Герман подряд согнул несколько полых труб, выглядевших как железные прутья, выпрямил подкову, соответственно подготовленную Исаком, затем всадил несколько гвоздей в гнилую доску и все это время расхаживал по помосту неспешной качающейся походкой, силясь казаться большим, грузным, да притом и опасаясь порвать трико.

Борцы не появлялись, но из соседнего шапито доносилось пыхтенье и мычанье их да музыка Джаделла, и было ясно, что там ни больше ни меньше разыгрывается матч на звание чемпиона Европы. Исак чутким ухом учуял свой час. Он вновь взошел на помост и произнес свою вторую за этот вечер большую речь, а Герман между тем прохаживался взад и вперед с презрительным видом, с каким всякий силач стал бы смотреть на жалкого карлика, дерзнувшего бросить ему перчатку.

Господин Вальтер никак не ожидал, что оба борца струсят, заявил Исак, он вызвал их на поединок, полагая, что и впрямь имеет дело с атлетами. Теперь же он с сожалением убедился, что ни один из них не посмел принять его вызов. Он не сомневается, что публика его извинит, а я надеюсь, добавил Исак уже от себя, что борцы все же явятся сюда завтра вечером в восемь пятнадцать, но если и тогда они не посмеют прийти, то господин Вальтер взамен поединка покажет публике свои лучшие номера, которые обычно не включает в программу из-за сопряженного с ними огромного риска. А сейчас, заключил Исак, дирекция цирка хочет выразить

свою благодарность Человеку со Стальной Дланью (тут Исак низко поклонился сыну) за то, что он столь великодушно и бескорыстно подарил свое искусство здешней почтенной публике.

Олли, стоявшая у входа, внимала всему этому в страхе. Но гнев людской вообще странная штука. На сей раз — все благодаря Исаку — досада публики обратилась не против дирекции цирка Хагелей, а против борцов, которые побоялись прийти и сразиться с Вальтером; не будь у них своих верных зрителей — из тех, кто купил абонементы на все пять представлений, — борцам, видно, пришлось бы сложить свой скарб и уехать.

И снова — легкий золотой дождик.

Опять Александра завела речь, что, мол, ей необходим новый костюм, а Исак даже не ответил; Олли решила: «Вперед!» — и тоже сказала, что ей надо бы приодеться, но и Герман, видно, тоже оглох.

— Мне даже не в чем выйти на улицу, — со слезами в голосе сказала она.

Себастьян сказал, что ему нужны ботинки, к тому же он отыскал поблизости мясную лавку, где по дешевке можно купить отличное мясо. Но тут Александра решительно заявила, мол, хватит с нее разговоров про мясные лавки, а что касается обуви — пусть Себастьян возьмет себе старые ботинки Исака.

— Нет у меня никаких старых ботинок, — сказал Исак. — У меня вообще нет ботинок.

Это была правда. Исак ходил в парусиновых тапочках, да и на тех прохудилась подошва, но никто этого не замечал.

Александра — та могла бы и помолчать, у нее-то была одежда, но, сделав страдальческое лицо, она снова принялась ныть, что ей необходим новый костюм, и Олли снова сказала себе: «Вперед!» — и понеслась по стопам Александры.

— Я-то молодая! — крикнула она и, уж верно, добавила бы еще кое-что, если бы Исак не остерег ее взглядом.

А Герман, вдруг ощутив в себе силу, неожиданно заговорил о будущем.

— Необходимо новое шапито,— сказал он,— и Олли должна чему-нибудь выучиться. Лучше всего купить шапито с куполом, в таком хоть чувствуешь себя человеком, а наш шатер — просто блин какой-то.

— Подумать только, с куполом! — вздохнул Себастьян так, словно купол можно было съесть.

И Александра тоже размечталась:

— Да, и с позолоченной маковкой, как в цирке Буммельманна и Виселя!

— А на маковке посадите картошку? — издевательски хмыкнула Олли.

Исак закрыл глаза — должно быть, «изобретал».

Герман вдруг как брякнет:

— Все это добро полагалось бы записать на меня! Я одну всю программу держу.

— С ватой или без ваты? — спросила Олли. И такое тут поднялось!..

Герман вскочил, стукнулся головой о крышу фургона, следом за ним вскочил Себастьян, но Александра заставила его сесть на место, ребятишки всем скопом забились в угол и ждали, блестя глазами, что будет дальше, Олли еще выше задрала нос, а Исак повернулся ко всем спиной.

— Ступай приведи сюда борцов этих,— крикнул Герман жене,— я сделаю из них котлету! — Тут вскочила Олли да как бросит ему в ответ: захочешь, мол, так враз сбегаю, Юлле Андерссон — давнишний приятель мой, скольких таких слабаков, как ты, он клал на обе лопатки! Она была вне себя от ярости, и даже Александре пришлось признать, что Олли ослепительно хороша. Огромные глаза сверкали гневом, волосы огненными змейками вились вокруг головы, а грудь ходила ходуном, будто у трагической актрисы в последней сцене знаменитой драмы.

Она поймает Германа на слове, кричала Олли. Распрекрасного Германа в новом костюме! И с напوماженными волосами! Германа с его популярностью, которая вечно следует за ним по пятам! Да, она поймает его на слове раньше, чем он выползет из своей ваты, дающей ему мощь! И если

он вправду посмеет сразиться с борцами, она в жизни не попрекнет его за то, что он жалкий слабак, и простит ему все глупости, которые он наболтал за эти десять лет,— мало того, она и слова не скажет, если он вздумает построить цирк с куполом до самого неба, да и сама готова хоть полвека висеть вниз головой на трапеции и терпеть, когда Герман поливает ее слюной,— но только, только, только! — прокричала она еще громче, если он не струсит и завтра же отправится к Юлле и пригласит его сюда!

Бледный от ярости, Герман не мог выдавить из себя ни слова. Он молча ткнул пальцем в дверь, словно хотел показать жене дорогу. Но дорогу она и сама хорошо знала. Прежде чем кто-либо успел ее остановить, она метнулась за дверь — было слышно, как она соскочила с фургона, задела за канат, упала и снова вскочила, но тут поднялся Исак, просунул голову в темноту и позвал:

— Деточка! Деточка!

И Олли вернулась.

На другое утро, когда Олли проснулась, в фургоне уже не было никого, все разбрелось кто куда. Исак сидел на оглобле и по обыкновению «изобретал», но стоило Олли распахнуть дверь, как он поднялся в фургон.

У него был перед этим разговор с Александрой, и от его слов она пришла в такую ярость, что бросилась вон из дома, пригрозив, что больше не вернется,— стало быть, не покажется, пока Олли не сварит обед. Как верный пес, поплелся за ней и Себастьян в надежде ближе к вечеру заполучить свою крону — что-что, а он по-прежнему умел предрекать наплыв публики; ну а Герман пошел на почту писать письма.

Исак улыбнулся невестке. Поднявшись в фургон, он отпер большую шкатулку и взял из загашника деньги.

— Ступай, детка, купи себе платье,— тихо проговорил он.

Тут Олли уже не могла больше сдерживаться — с плачем бросилась она Исаку на шею, и ему же пришлось ее утешать.

— Ну полно, полно, деточка,— приговаривал он.

До чего же Олли нарядная! Она вертится перед зеркалом в магазине готового платья, поворачиваясь в разные стороны, и то и дело теребит продавцов: а точно ли идет ей костюм?

Улыбаясь своему отражению, Олли распахнула жакет и принялась осматривать подкладку, затем встала на цыпочки, чтобы казаться выше, и, наконец, упруго семеня, подошла к Исаку и присела перед ним в реверансе:

— А теперь, мальчик мой, пойдем отсюда!

Она велела ему взять ее под руку, и вдвоем они отправились гулять по поселку, Исак молчал, только приговаривал временами «гм, гм», а потом Олли предложила зайти в кондитерскую, и ему пришлось последовать за ней — есть пирожные.

— Хорошо-то как,— сказала Олли.

Исак улыбался, и твердил свое «гм, гм», и снова улыбался, и хмыкал, но Исак есть Исак, и скоро он, по обыкновению, смежил веки и смолк. Олли взглянула на него и подумала вдруг: «Господи, до чего же он постарел и какой усталый у него вид!»

Тут она стала допытываться:

— Скажи мне, Исак, что случилось?

Исак открыл глаза и прокашлялся.

— Недолго осталось мне любоваться тобой,— сказал он.— Сегодня Герман пишет письмо Буммельманну и Виселю, и если его пригласят в этот цирк, нас будет здесь только трое: я, Александра и папа. И тогда все пойдет прахом.

С этими словами Исак снова укрылся в свое раздумье, как полагали — чтобы «изобретать». Но Олли взметнулась всем своим стройным маленьким телом и заходила по залу, затем, остановившись у широкого зеркала и не отводя от него взгляда, сказала:

— Ни за что в жизни!

— Олли,— начал Исак,— ты не бросишь нас, даже если от нас уйдет Герман?

— Ясное дело!— сказала Олли.— Можешь не сомневаться!

Исак заспешил домой писать афишу, а Олли осталась в

кондитерской. И снова она засемила к большому зеркалу и подумала: хорошо бы иметь такую штуку в фургоне!

«Олли!»— позвал кто-то за ее спиной, и ей не было нужды оборачиваться, чтобы увидеть Юлле.

— Господи, это ты, Юлле!— сказала она так, словно они расстались только вчера, а не одиннадцать лет назад.

Не спросив позволения, Юлле подсел к ее столику.

— Нет, Олли, это не я,— сказал он,— но все равно. Я увидел тебя в фургоне, а не то я бы уж давно уложил твоего хилого муженька на обе лопатки. Напарник мой хотел это сделать, но я его удержал. Брось, сказал я, не хочу, чтобы баба его на меня дулась. Так-то вот. А ты как поживаешь?— улыбнулся Юлле.— Довольна жизнью? Хагелям скоро крышка. Исак с каждым днем все больше становится похож на Себастьяна, а Александра без удержу гоняется за мужиками, впору вмешаться полиции. Знаешь, наш Эйно...

И Юлле стал рассказывать, как Александра пыталась соблазнить Эйно.

— Не стыдно тебе, Юлле?— вздохнула Олли.

Словом, они сидели рядом и разглядывали друг друга.

«Как есть старина Юлле»,— подумала Олли.

«Как есть крошка Олли!»— подумал Юлле.

— И зачем только ты пошла замуж за этого Германа Хагеля!— сказал он.

— И правда, зачем?— сказала Олли и невольно вздохнула.

Но Юлле не унимался:

— Нет, правда, Олли, хочешь, я разделаюсь с ним за тебя?

— А тебе-то что с этого?

— Возьмешь меня взамен?

Юлле склонил голову набок и рассмеялся в точности как раньше, много лет назад.

Олли не отвечала, но он продолжал:

— Неужто ты согласна всю жизнь колесить в фургоне,

Олли? Нет, ты только скажи! Ясное дело, ты предпочла бы жить в комнатах. Мы вот никогда не ночуем в фургоне, мы не цыгане какие-нибудь. И скоро мы купим машину. И у нас есть запас — сбережения. Так что ж ты скажешь, Олли? Отвечай!

Крепкая рука Юлле лежит на столе, дожидаясь ее руки. Вот она, его рука. Достаточно только прикоснуться к ней, и Олли сделается госпожой Армстронг-Джулиус, разъезжающей на автомобиле, — это вам не какая-нибудь фру Хагель, которая висит на трапедии головой вниз. Все очень просто... зря только Юлле произнес это слово «запас».

Олли вспомнила Себастьяна и Александру. И ей захотелось вложить свою руку в руку Юлле. Вспомнила обоих Германов, старшего и младшего, и маленькую Олли, которая не звала ее мамой, а просто Олли. И по-прежнему ей хотелось стать женой чемпиона по вольной борьбе Армстронг-Джулиуса. Но тут она вспомнила Исака с его запасом — и этого оказалось довольно.

— Не мели вздор, Юлле, — сказала она и пошла домой.

Исак написал новую афишу, и Александра — она уже успела одуматься, вернулась домой и сварила обед — теперь, придав своему лицу ангельское выражение, громогласно восхищалась работой мужа. Ей вторил Себастьян, который поплелся за ней в расчете на обычную подачку — то ли целую крону в залог будущего успеха, то ли, на крайний случай, полкроны, — даруемую в надежде на успех или просто из жалости. Александра притворилась, будто не замечает нового костюма Олли, а стало быть, и Себастьян тоже притворился, что ничего не заметил. Сам он теперь разгуливал босиком, стараясь этим ненавязчиво показать, что ему нужны ботинки.

И Олли увидела афишу, выставленную Исаком у входа в цирк. На ней был изображен господин Вальтер в схватке с медведем, которого Исаку оказалось легче нарисовать, чем льва, задуманного для этой цели первоначально. И еще Исак сочинил к афише новую подпись. Господин Вальтер

вновь вызывает соперников на бой, говорилось в ней, и к тому же обещает, хоть, конечно, не нынче вечером, а завтра, сразиться с кем угодно из публики и заплатить тысячу крон наличными тому, кто сумеет его одолеть.

Тут Олли поняла, что Исак решил ночью уехать отсюда. Он так и сказал за ужином:

— Ночью снимем шапито и уложим пожитки, а ты, отец, с вечера еще пригони лошадей — выедем рано.

Герман, правда, пытался, должно быть рисуясь перед Олли, что-то вяло возразить, мол, много чести этим борцам, чтобы сматываться из-за них, да и вообще он готов сразиться с кем угодно из публики, но ему никто даже не ответил. Зато и сам Герман ни слова не сказал про новый костюм Олли, но поглядывал на жену так, что видно было: он заново открыл для себя ее красоту. Себастьян запикивал в рот еду и не смел принять чью-либо сторону, потому что Александра против обыкновения молчала. Исак закрыл глаза и погрузился в раздумье.

Тут вдруг Герман возьми и скажи:

— А с той недели Олли начнет упражняться, я уже придумал несколько отличных номеров. И потом мы с ней перейдем в цирк Буммельманна, хватит с меня этой волюнки!

Олли ничего не ответила, лишь глянула на Исака, медленно разжимавшего веки. Она рвалась совершить то, от чего он глазами молил ее отказаться. А вот и сделаю, сказал ему ее взгляд. Не надо, деточка, зывали его глаза. Нет, сделаю все равно, заупрямилась она, и тогда Исак снова ушел в себя.

— Какой душный вечер,— сказала Олли,— пойду-ка я прогуляюсь.

И снова Исак разжал веки и посмотрел на нее: оставь это, Олли!— говорил его взгляд. Нет, ни за что, вновь ответили ему ее глаза, поздно теперь просить, раньше придумал бы что-нибудь!

— Что, пробежаться хочешь?— насмешливо спросил Герман.

— Отчего бы и не прогуляться женщине, у которой есть новый костюм?— вставила Александра.

— И к тому же есть ботинки!— подхватил Себастьян, хотя никого этим обидеть не думал, да и вообще не кончил еще набивать рот пищей.

Глаза Исака молили: оставь это, деточка! Скажи он хоть одно слово — и Олли осталась бы, но он промолчал и вновь сомкнул веки.

Идти было недалеко. Олли обошла кругом шапито борцов, приподняла брезент и заглянула внутрь. Юлле сидел на ковре и шнуровал ботинки, готовясь выйти наружу и показаться прохожим, дабы завлечь зрителей в цирк.

— Ни о чем не спрашивай меня, Юлле! Только непременно приходи нынче вечером! Кончай борьбу получасом раньше и приходи! А потом...

— Да, что потом?

— Потом... Я хочу жить в комнатах, Юлле. А ты согласен уехать отсюда нынче же ночью или ближе к рассвету?

И пяти минут не прошло, как Олли возвратилась в фургон.

Когда в густо набитом цирке Хагелей началось представление, Олли сидела у входа.

Исак поднялся на помост, он потирал руки, затянутые в перчатки, теребил манжеты, вертел на манишке булавку с поддельным бриллиантом столь старательно, что мог сойти за богатого старого господина.

Господин Вальтер, начал он, подобен молодому льву, которого заперли в клетку на долгий срок: он ярится оттого, что ему не дают попробовать свою силу. За этим метким сравнением последовала короткая продуманная пауза. Затем Исак продолжал: публика, которую он рад приветствовать в своем заведении, наверняка понимает и разделяет законные чувства, которые испытывает сейчас Человек со Стальной Дланью. Разные бывают люди, заявил Исак. Одни много болтают и хвастают. Другие предпочитают действовать. Господин Вальтер — человек действия, а стало быть, как вы прочитали в афише, он вызывает на поединок всех, кто завтра вечером пожелает помериться с ним силами, и заплатит тысячу крон наличными тому, кто сумеет его одолеть.

В этой тишине отчетливо слышался гул, доносившийся из цирка борцов. Судя по всему, Армстронг — нынче, должно быть, была его очередь победить — уже окончательно одержал верх над Эйно. Хагели взволнованно ловили звуки из соседнего шапито, и всех больше — Олли. В слабом свете карбидных ламп она устремила взгляд поверх голов зрителей на Германа. Отвращение, смешанное с жалостью, захлестнуло ее. Муж ее, отец ее детей, выглядел сейчас таким глупым, заносчивым петухом — весь ватный снаружи и внутри, короче, дурак набитый, — что она с омерзением отвернулась.

Мрачен был нынче Исак. Он сидел в первом ряду и смотрел на сына. А может, он сидел с закрытыми глазами и «изобретал» — Олли просто не верилось, чтобы Исак мог любоваться таким уродством.

Герман вздымал свои деревянные гири, сгибал в баранку свинцовые прутья и трубы, успешно обманывая одну часть публики и вызывая громкий смех у другой. Над ним колыхалась, колеблемая слабым ветерком, крыша полотняного шапито. Непрошеными гостями проникали сюда звуки ярмарки: хлопки ружей из тира, звяканье колец, набрасываемых на колья, скрип воздушных качелей и скрежетанье тормозов в днищах лодок, грохот карусели, пение шарманок и музыка баяна, на котором играл Джаделл. Прекрасный выдался вечер.

Вот Герман напыжился, выставил грудь колесом, взмахнул руками на благоразумном расстоянии от мощного торса, донельзя набитого ватой, и уже нацелился усесться на свой табурет, а Исак затеребил булавку с поддельным бриллиантом, готовясь произнести заключительную речь.

И тут вдруг от входа донесся визгливый голос Александры и низкий бас Армстронга.

В палатке мгновенно воцарилась полная тишина. Исак сошел с арены, а Герман побелел как мел. С улыбкой, уверенным шагом, не оглядываясь по сторонам, Юлле прошел прямо к помосту, встал на ковер, поклонился публике, молча схватил Германа и принялся трясти его так, что у

того свалились усы, после чего бережно посадил его на табурет.

Но тут у входа вскочила Олли и крикнула:

— Вату, Юлле! Вату вытряси!

Герман пытался было увернуться, но Юлле вновь стиснул его цепкими пальцами и одним рывком сорвал с него все фуфайки, откуда разом вывалились все ватные подкладки, затем он поднял его так высоко, словно Герман и вовсе ничего не весил, и бережно, будто стеклянного, водворил назад на табурет, а уж потом поклонился публике и, не произнеся ни единого слова, покинул шапито.

Все произошло так быстро, что публика оторопела. Но теперь грянул хохот. Смех щекотал горло, трясся, квохтал, оглушительно звенел в ушах; когда Герман удирал с арены, зрители топали ногами, свистели, выли, наперебой издевательски что-то вопили. Исак сделал руками жест, но отнюдь не растерянный, а непринужденный, изящный, словно приготовясь что-то сказать. Но вместо этого он взглянул в сторону входа. Там, у входа, уже не было Олли. Тогда он взял за руку вконец испуганного Себастьяна и повел его к выходу, но притом не забыл вовремя остановиться и отвесить поклон публике, прежде чем за ним опустился брезент.

Александра успела кое-как спасти кассу, и все семейство сбежалось в фургон, а в шапито по-прежнему шумела публика. Буря бушевала не то чтобы уж очень сильно — ведь сам поселок был такой маленький, что легко уместился бы в кармане господ бога, а и он невелик, — словом, дело не дошло до урагана народного гнева. Хагели слушали бурю, и чуть погодя Герман сказал:

— А еще Олли, чертовка проклятая! Пусть только вернется — уж я ей покажу!

Но тут он встретился глазами с отцом — Исак смотрел на него взглядом, полным иступленной тоски.

Александра вздохнула, может, даже с облегчением:

— Будь спокоен, Герман, она не вернется!

Поздним вечером, когда вокруг все стихло, Исак вышел на площадку. Борцы уже сняли свою палатку, и Эйно в одиночестве укладывал ее на фургон. Исак что-то пробормотал про себя и вошел в свое собственное шاپито, где увидел, что буря, которая здесь пронеслась, оказалась слабее, чем можно было ждать, что называется — благостная буря. Разве что опрокинули две-три скамейки и разбили газовый фонарь. Крохотный огонек отчаянно бился, не желая умирать, порываясь, как и прежде, светить во мраке.

Прямо под ним Исак опустился на скамейку, сжав руки, смежив веки, и тогда только открыл глаза, когда в палатке стало совсем темно. Он слышал, как Себастьян, который наверняка уже успел снова проголодаться и хотел выказать свое усердие, сопя и кряхтя от усилия, убирал палаточные мачты. И подумал Исак: «Скоро все рухнет».

Оскудел силой Бурелль

Ель и сосна. Береза и верба. И крутые берега, что, напитавшись дождем или отяжелев от вешнего снега, тихо, тихо (не нынче, так на другой год или на третий, словом, раньше или позже) неминуемо сползут в реку и вскорости обратятся в мутную воду, чтобы после отложиться новым дном здесь же, в реке, или в море.

Винт пароходика крутится изо всех сил, бьется с течением, стараясь не сбавлять скорости. Но течение такое мощное, что только руке человека под силу с ним совладать. Капитан-рулевой вырывает на стремнину и, наслаждаясь покоем, вкушает редкие отрадные мгновения короткого лета.

На палубе ближе к носу стоит большой тяжелый сундук из некрашеного дерева и рядом — металлический черный ящик, длиною с полметра, с толстой выпуклой крышкой. К сундуку прислонился долговязый парень, а на ящике восседает мужчина. Мужчина этот — Калле Бурелль, в прошлом профессиональный борец, затем хозяин кафе, а ныне владелец кинопередвижки; подставив свой бычий затылок солнечным лучам, он спит с раскрытым ртом.

Парня зовут Валле, ему только что исполнилось семнадцать, у него длинное лицо и льняная челка, рот растянут в ухмылке, а глаза сияют дерзким любопытством. Он помогает Буреллю давать пояснения к фильмам и состоит при нем киномехаником. Дело в том, что в большом сундуке спрятана старая кинопередвижка, а в железном ящике хранятся два фильма без титров, из которых каждый рассчитан на целый вечер, и сейчас хозяин с помощником едут на ярмарку, которая продлится целых шесть дней; держат они путь в большую деревню, что в нескольких милях отсюда вверх по реке.

Временами Бурелль приоткрывает глаза и коротко оглядывает мир. Это не значит, что он проснулся, он приоткрывает глаза, и только. Такой уж он стал в последние годы: душа его дала трещину — вслед за спиной и желудком, — душа-то, как известно, корнями уходит в тело.

Вот пароходик причалил к пристани, он раскачивается на воде и подскакивает всякий раз, когда кто-то сходит с него или, напротив, взбирается на палубу; наконец капитан-рулевой ударяет в колокол, дает задний ход и опять выводит суденышко на стремнину. И снова пароходик спокойно и ровно плывет по реке, и Бурелль снова закрывает глаза, чтобы покрепче уснуть.

Валле веселым взглядом шарит по берегам, которые, извиваясь, убегают вдаль или, наоборот, подплывают все ближе и ближе. Вон там проселок, по проселку мчится велосипед, на велосипеде — мужчина, из-под заднего колеса брызжет пыль. А вон — клочок леса, проселок ныряет в него, как в туннель, и теперь виден только берег, медленно оседающий в воду. Все деревья на нем словно бы висят в воздухе, что особенно заметно, когда плывешь мимо мыса. Вон та сосна упрямо хочет жить, хоть и годна разве что только на древесину. Со звериным упорством вцепилась она в тонкую полоску земли, но тот, кто обогнул бы мыс с другой стороны, увидел бы огромный пучок ее голых корней, тянущихся к воде и отчаянно молящих о помощи. На другое лето дерево рухнет в реку и долго будет, покачиваясь, лежать на воде, пока кто-то наконец не подберет этот труп.

Еще один мыс.

Дальше — свежескошенные луга, за ними — картофельное поле, прочерченное длинными бороздками; скоро, под первыми осенними дождями, оно превратится в уродливое грязное месиво; еще дальше — новый проселок, а впрочем, может, и прежний, и другой велосипедист, а может, и прежний, мчится проселком, и снова из-под заднего колеса брызжет пыль. Капитан-рулевой лихо разворачивается, и пароходик, важно покачиваясь на зыби, подплывает к новому причалу. Бурелль по-прежнему погружен в дремоту, но все

же приоткрывает глаза и досадливо морщится. «Проклятый край!» — думает он во сне.

Толчок. Капитан сам выбегает на нос и набрасывает на тумбу канат, суденышко замирает у пристани. Валле оглядывается окрест и вспоминает разные места из прочитанных книг, не подойдут ли они к случаю, а может, и попросту примеряется, какая из здешнего народа выйдет публика.

Жизнь изрядно потрепала Бурелля. Не то чтобы он трудом рук своих обогатил страну, нет, где уж там, но как-никак он пешком исходил ее вдоль и поперек, терпел и голод, и всякие беды, знавал удачу, и опять же — голод и беды. На баяне он играет, если на то пошло, ничуть не хуже шведско-американского короля баяна Джеффа Джаделла Андерссона, играет он и в карты, а в свое время, открыв, что может зарабатывать деньги своею силой, недолгое время разъезжал по стране и укладывал на обе лопатки крестьянских парней да силачей-мясников, пока не нарвался на брата того самого Джаделла — некоего Армстронга-Джулиуса, или, для домашних, попросту Юлле Андерссона. Вот этот проклятый Андерссон переломил ему хребет, а главное — сломил его дух. После этого Бурелль открыл кафе, можно сказать, с отчаяния; не только из-за своего с недавних пор слабого позвоночника да больного желудка мучился он теперь, но еще из-за женщины, о которой дальше пойдет речь, а именно из-за Олли, бабенки того Юлле Андерссона. Дела в кафе шли хуже некуда. Поначалу народ заходил сюда поглядеть, как Бурелль сидит, развалиясь за столиком, хорохорится и хвастает громогласно, но однажды появился здесь дюжий парень, сгреб Бурелля в охапку и спустил с лестницы. «Мол, прикуси язык!» Бух, бух — отдалось в мозгу у Бурелля, будто отчаянием бухнуло его по голове.

Распознавшись с кафе, он приобрел кинопередвижку.

Тут дело у него заладилось. Кинопередвижка фирмы «Патэ» была отнюдь не новейшего образца, да и ленты достались ему сплошь старые, бракованные, дважды на каждом метре склеенные, что называется, одни швы, да еще без всяких титров. Но, сказать по правде, Буреллю нравилось

говорить со зрителями, выступать перед ними с небольшими речами. Валле регулировал фонарь, крутил ручку аппарата и присматривал понемногу за всем.

Валле был мечтатель или как там еще это назвать. Когда он крутил ручку кинопередвижки, он не то чтобы засыпал, но сплошь да рядом совершенно отключался от всего, что творилось вокруг. Бурелль всякий раз замечал это, когда просил его давать пояснения к кадрам. Поначалу Валле терялся. Он знал, конечно, что происходит на экране — вот скачет по нему португальская конница, а сейчас на нем красуются китайские пагоды, вот разыгрывается трагедия гибели Сан-Франциско, — но в своих пояснениях он то и дело сбивался на несущественное.

Что бы ему сказать: «Перед вами португальская конница, она скачет по горе, вот сейчас кони перемахивают через ров, один из всадников падает — видели? — а вот он снова вскочил на ноги». Или еще: «Перед вами самая лучшая в мире актриса в самой лучшей своей роли. Ее зовут Доррит. Вот она идет по дороге. Скоро вы увидите, кого она встретит. Это Кнаус. В жизни, конечно, у него другое имя — П. Силандер, он датчанин. Очень красивый мужчина. И один из лучших актеров в мире. Вот он обнимает девушку за талию. Говорит ей: «Пойдем со мной! Я живу тут неподалеку». А она, видно, робеет. Но вот — смотрите! — она кивнула, значит, согласилась все-таки. Скоро вы узнаете, чем все это кончится. Вроде бы плохо дело, но не волнуйтесь — все будет хорошо».

Но таким стилем — так обычно говорит сам Бурелль — Валле не пользуется, когда ему поручают пояснять кадры. Валле говорит совсем другое:

— Вот это вроде бы Португалия перед вами. Португалия соседствует с Испанией, это маленькая страна, и много веков назад там было землетрясение. А про Испанию вы, надо думать, слышали?

Но Валле так далеко ушел в сторону от Португалии, что Бурелль вынужден вмешаться.

— Ты про Португалию говори, Валле! Дело-то происходит в Португалии! — хрипло шепчет он помощнику.

— Ага,— продолжает Валле,— смотрите, вон они скачут, а этот вот, значит, свалился с лошади, но вы не переживайте, это же все понарошку...

— Да ты что!— шипит Бурелль. — Он же взаправду упал!

— Может, и взаправду,— подхватывает Валле,— но в любом случае можно лишь восхищаться...

Это самое «можно лишь восхищаться» Валле, конечно, вычитал в какой-нибудь книжке — очень уж благородно звучит такая фраза, Валле вставляет ее к месту и не к месту, но даже сам Бурелль и тот согласен, что лучше не скажешь.

А вторую ленту Валле, случалось, пояснял так:

— Вот, смотрите, сейчас перед вами разыграется драма с ужасным концом...

— Ты что!— довольно громко осаживал его Бурелль и поправлял:— В этом фильме вам встретятся печальные эпизоды.

Валле:

— Вот перед вами Кносс!

Бурелль:

— Черт побери! Фамилия артиста — Силандер!

Валле:

— А сейчас перед вами — девушка! Ее зовут Грета или как-то там еще в этом роде. Девушка-то деревенская.

Бурелль:

— Это самая замечательная актриса во всем мире! Но Валле, должно быть, как никто, сочувствовал девушке и продолжал свое:

— Вот, смотрите, как он завлекает, охаживает ее! Сейчас уведет девушку к себе. Видите, какой он подлец!

Бурелль сердито:

— Да скажи ты им, что все кончится хорошо! Чтобы не волновались зря!

Валле:

— Может, оно и кончится хорошо... в некотором роде... но главное, смотрите внимательно, это самый лучший фильм, вам полезно его поглядеть, небось круглый год не видите ничего!

Бурелль громко:

— Уважаемые зрители, смотрите, смотрите, лента скоро кончится!

Вот почему Бурелль так редко поручал Валле давать пояснения и притом всегда мешал ему говорить все, что вздумается. А Валле, может, многого бы достиг и извлек бы из этого для себя пользу, да только Бурелль, сколько бы ни брала его хворь, вечно торчал тут же и поправлял его, а кончится сеанс, он, бывало, и скажет:

— Хорошее дело, Валле, книжки читать, а все же хочешь научиться давать пояснения к фильму — учись у живой жизни!

Валле, известно, пожимал плечами, а сам своим дерзким, любопытным взглядом глядел в другую сторону.

И вот, значит, тот самый причал, и стоит теплый-пре-теплый день позднего лета.

Бурелль открыл глаза, взглянул на часы и вздохнул — впереди еще два с половиной часа пути, знать, посудины эти только и годятся скотину перевозить да крестьян, которым спешить некуда.

Толчок, пронзительный скрип — пароходик встал у причала; все, кому выходить, вылезают на берег — приехали. Капитан-рулевой больше печется о безопасности, чем о скорости суденышка, — несчастных случаев опасаться не надо. И снова Бурелль почти совсем смежил веки: осталась лишь узкая щелка — как ярко пылает в ней свет и как тускло тлеет в ней разум! — шире раскрыть глаза он не в силах, и вяло зияет рот спящего, скованного послеобеденным сном.

И вдруг Бурелль просиял. Резко сжал рот, отчего сразу открылись, будто распахнулись, глаза — шарниры сработали отлично. Сейчас у Бурелля вид бодрый, решительный, хоть и слегка удивленный. У причала стоит маленькая женщина, волосы ее трепетным золотистым облаком осеняют прелестную головку, на ровно напудренном личике — огромные синие глаза. Ей, должно быть, много

за тридцать, костюм на ней — изрядно потертый, а все равно... А все равно во всем свете есть только одна такая женщина, и женщину эту зовут Олли, но сегодня она непривычно одинока, необъяснимо одна.

Олли была когда-то замужем за воздушным гимнастом — за кем, Бурелль точно не знал. Как не знал и того, почему сошлась она с Юлле Андерссоном, но очевидно одно: Юлле Андерссон себя не щадит, ради нее бьется он с другими. Воображает небось, ему на весь век силы хватит, с горечью подумал Бурелль.

Бурелль поднялся с места. В отличие от долговязого Валле, он коренаст и низкоросл, да и вообще больше смахивает на тяглового вола, чем на человека, но лицо его сияет радостью, а тонкогубый рот вот-вот растянется до ушей. Тут оживился и Валле — он тоже заметил женщину у причала. Впрочем, кругом все расплылось в улыбках. А капитан-рулевой даже приподнял фуражку, когда, бойко семеня ногами, крошка Олли взошла на палубу. От ее шажков пароход не потонул — совсем напротив, всем почудилось, будто он стал еще легче.

Конечно, багаж ее весит немало, уйма у нее вещей, непосвященным они могут показаться загадочными и зловещими, уж очень странно, пугающе странно выглядят они среди клады добропорядочных смоландцев — мешков и разной утвари. Здесь и брезент в рулонах, и шесты в связках, три огромные сумки, ящики, выдавший виды сундук, где уместились не только мечты артистов, но и кухонная утварь, и, наконец, длинный черный ларец — в один фут высотой и шириной и длиною в метр, — взглянув на него, подумаешь, а не стала ли Олли укротительницей змей или шпагоглотательницей.

«Прежде, — подумал Бурелль, — прежде она всегда носила в руках только цветы. Неужто это время отошло в прошлое?»

И Юлле Андерссона нет как нет.

Бурелль подался было вперед — думал помочь мужчинам на пристани погрузить на пароход вещи Олли, но

капитан-рулевой и другие пассажиры все уже сделали сами. Да и Валле им помог. Валле поспешил убрать трап, хотя, сказать по правде, его и трапом назвать нельзя — так, просто широкая, крепкая доска.

«А малый-то не промах», — подумал Бурелль.

Олли рассыпалась в словах благодарности, только и вертит головкой туда-сюда и щебечет, как птичка. Когда Олли стояла на пристани и ждала парохода, платье ее издали казалось сильно потертым, но тут даже востроглазые крестьянские бабы словно забыли об этом.

Пароходик снова вырулил на стремнину и поплыл вверх по реке, а капитан подбросил в топку несколько крупных бревен. Вперед!

Бурелль наконец отважился поздороваться с Олли. Теперь только, когда пароходик отчалил от пристани, он убедился, что Олли и вправду одна. Она уселась на ящик, где хранятся мечты, но может, и змеи или шпаги, а солнце, наполнившее этот день теплом и светом, взяло к себе в помощники эту женщину — ее ослепительное лицо. Уж верно, один Бурелль видит, что ей много за тридцать, а если и не видит, он все равно это знает. И еще он знает, а может, просто догадывается, что в последние годы жизнь ее не баловала.

— Добрый день, Олли, как поживаешь? — спросил он.

— День добрый, Бурелль! Как здоровье твое, любовь как? — ответно огорошила его Олли. — Садись-ка сюда, богатырь!

Такой уж у нее разговор.

Стоя у сундука с кинопроектором, Валле упрямо пялит на нее любопытные глаза. Олли глядит на него, и Бурелль тоже. Два долгих, испытующих взгляда.

— Ты нынче одна, Олли? — решился спросить Бурелль.

Заглянув ему в лицо, Олли ответила не без лукавства:

— Да, одна, но думаю, ты об этом не жалеешь, Бурелль?

Валле упрямо не сводил с нее любопытного взгляда, и Олли одарила его улыбкой, которая так быстро

мелькнула и погасла, что Валле растерялся — может, просто блеснул солнечный зайчик,— но, еще даже не успев подумать, уже расплылся в ответной улыбке, хотя вид у него был чуть оторопелый.

— Неужто ты не знаешь, Бурелль, что Юлле сломал позвоночник?

Бурелль помолчал, проглотил жестокую шпильку Олли и выговорил так холодно, насколько вообще позволяла жара:

— Да только нынче навряд ли это был *мой* позвоночник!

Олли еще шире раскрыла глаза. Валле по-прежнему не сводил с нее взгляда, и снова ему показалось, будто по ее лицу скользнул солнечный зайчик, а у Бурелля — от того только, что он сидел так близко к этой маленькой женщине,— одуряюще зашумело в голове. Она сказала:

— Слушай, Бурелль, Юлле самому себе сломал позвоночник, конечно, не без помощи одного дюжего парня! Оттого-то я и сижу здесь с тобой рядом на этом вот сундуке. Будь по-другому...

Высокий голос Олли сорвался, утратив вдруг красоту тембра, и зазвучал пронзительно резко, но, чуть передохнув, она вновь заговорила насмешливо и спокойно.

— Будь по-другому,— сказала она,— зачем бы мне весь этот багаж! Юлле, когда здоров был, сам обо всем пекся. Но сейчас он лежит в больнице и, наверно, никогда полностью не оправится. Может, он кончит так же, как Эйно... А покамест...

— Что покамест? — переспросил Бурелль.

Валле показалось, будто по лицу Олли снова скользнул солнечный зайчик, и она ответила:

— Покамест у меня все же есть тир, да еще аттракцион с кольцами. Нынче мой черед в директорах ходить, не ребенок же я в конце концов...

«Ребенок — нет ли, это одному богу известно»,— подумал Бурелль и подряд несколько раз сочувственно хмыкнул. Олли заглянула ему в лицо — Бурелль просиял, и она

догадывалась почему. А напротив Олли стоял еще кто-то, и он тоже просиял... Валле.

— Послушай, малыш,— сказала ему Олли,— вредно стоять на солнцепеке, еще, пожалуй, простудишься. Хотя ты и запродался Буреллю душой и телом, а все же не чинись, подойди поближе, дай-ка на себя поглядеть. Небось на этом сундуке и для третьего место найдется!

Бурелль потемнел лицом.

— Где парень стоит — там ему и место,— сказал Бурелль и строго взглянул на Валле. Но Валле не подчинился его взгляду — он знал себе цену — и, благодарно, хоть и чуть смущенно, улыбнувшись Олли, уселся рядом с ней.

Сидит себе Олли на сундуке, по одну сторону у нее Бурелль, по другую — Валле, и никто не скажет, будто за разговором она наклоняется к Буреллю ближе, чем к его пареньку.

Пароходик, пыхтя, тянулся вверх по реке медленно и уныло, будто какой-нибудь паром, а не гордый речной корабль, каким стал с той минуты, как на палубу ступила эта женщина. Капитан-рулевой видел лишь спину Олли, обращенную к нему, и притом мгновениями забывал и свою службу, и этот пароход. Спина и шейка у Олли — изящные, хрупкие, как у девочки. Не часто капитану-рулевому доводится любоваться такой красотой: на берега он почти и не смотрит, когда же случится причалить к какой-нибудь пристани, он видит лишь кусочек поселка, воду, зыбющуюся у причала, да серые лохани, где полощут белье, а на людей и вовсе никогда не глядит.

Здесь река вдруг делает поворот, а день уж и давно повернулся к вечеру. Настоящих ночей об эту пору вообще не бывает, лишь сумерки длинными тенями спускаются на землю, окутывают берега, воду и лица. Долгими часами сидят люди молча: кто полностью ушел в себя, кто дремлет, одни от усталости, другие — мечтают. А Бурелль, которого всегда клонит ко сну, нынче даже век не сомкнет.

Олли хлопнула маленькой ручкой по ящику с актерскими мечтами.

— Такие вот дела — нынче я сама себе директор. Прежде директорами были Хагели — сначала свекор мой, честный старик, он, правда, был чуть-чуть в меня влюблен, но никогда мне не досаждал. Потом директором стал Герман, сын его, за которым я замужем была, может, знаешь его? — тот самый, что прошлым годом шею себе свернул. Вот уж болван из болванов, я таких и вправду больше не видывала.

— А у тебя вроде и дети были? — вдруг вставил Бурелль.

Олли стихла, совсем-совсем тихая стала, лишь чуть погода заговорила снова:

— После в директорах ходил Юлле, он все деньги сам зарабатывал, а я была баклуши. Жаль, мы не догадались откладывать на черный день... А вот теперь, значит, директор — я.

Олли повернулась к Валле:

— Тебя-то как звать? Валле? Что ж, сойдет, и хуже ведь имена бывают. А ты, черт побери, хоть годен на что-нибудь?

Бурелль пожал плечами — этот жест он у Валле перенял, — а тот ухмыльнулся:

— Нет, фру, ни на что не годен!

— Хоть бы какой-никакой прок был от тебя, — продолжала Олли, — я бы тогда, пожалуй, перекупила тебя у этого дурня Бурелля. Понимаешь, трудно мне одной дело вести. Работать в поте лица. Палатку ставить. А потом еще приглядывать за всем этим мужичьем, руки-то небось все распускают...

Олли закрыла глаза и погрузилась в дремоту, а слова ее пустили корни и принялись прорастать в душах Бурелля и Валле. И чуть погода Бурелль сказал:

— Тебе нужен человек бывалый, который знает к людям подход. Словом, зрелый человек с крепкой хваткой, да притом давний знакомец, на какого сможешь положить...

А еще чуть погода Валле сказал:

— Пожалуй, не так уж и много дел у нас до начала сеанса. Так что если фру Андерссон требуется помощь — с палаткой подсобить или что другое, я с удовольствием...

Бурелль так выпучил глаза, что брови изумленными дугами вскинулись аж на лысый череп. Валле понятно, что это значит.

— Ишь ты, сопляк, с удовольствием, говоришь, поможешь! Уж как-нибудь без тебя обойдемся!

Гримаса — что фильм без титров. Но Валле и так все понятно, и он стиснул зубы. В уме он уже подсчитывает, сколько ему причитается жалованья за две недели: «Деньги на бочку, старый черт!» Но само собой, он только в уме подсчитывает деньги, сам же молчит.

И Олли тоже молчит.

Река теперь делает поворот в другую сторону, а день и вовсе поворачивает к закату. Солнце низко нависло над берегом, над домами, оно светит прямо в глаза капитану-рулевому, и он видит лишь силуэт Олли в пучке длинных золотистых лучей. Имеющий уши да слышит. Как знать, что думает капитан-рулевой, может, и так: иной весь век мается со своим клочком земли да еще с коровой, с ребятишками своими и с бабой. Он только и знает делать свою работу, без усталости крестьян перевозить взад-вперед, но никогда не может сойти на берег, как бы ему ни хотелось, и должен всякий раз возвращаться назад с этой вот перевозочной посудиною, которой в пору перевозить скот, а все эти люди на пароходе могут сойти где хотят и остаться там поразвлечься.

Судя по лицу капитана, именно эти мысли одолевают его.

Причал.

От толчка проснулся весь мир, пароходик хрипло загудел — тоскливый вопль водяного пара, силой вырванного из сна, — и как только он причалил к пристани, Бурелль встал.

— Возьмешь кинопередвижку,— сказал он Валле,— а я помогу фру Андерссон выгрузить на берег ее багаж.

Валле не мог послушаться. Вообще-то он не из тех, кто долго раздумывает и медлит, когда надо засучить рукава и браться за дело; несмотря на всю свою юность, он уже не раз перетаскивал эту самую кинопередвижку с причалов, пристаней на разные судовые палубы, грузил в товарные вагоны и выгружал оттуда, а уж в такой день, как нынче, когда можно вобрать в легкие чистый воздух, да еще на тебя смотрит Олли, он чувствует в себе двойную силу. Валле с виду поджарый, щуплый, но притом жилистый. Бурелля чуть ли не досада взяла, что не сам он сгрузил ящик с кинопроектором, когда увидел, как Валле ловко поднес громадину к борту судна, а затем сильным рывком стащил его на трап.

В любой другой день Бурелль похвалил бы помощника — мол, черт тебя возьми, сопляк, здорово ты с этим справился,— но нынче, вместо этого, он прокричал:

— Проклятие, щенок! Нельзя ли поосторожней! Это тебе не мешок с картошкой!

Но Олли сверкнула глазами, и у Валле прибавилось сил. Еще толчок, затем долгий скребущий звук — и тяжелый ящик уже на берегу. Даже хмурые мужики и те одобрительно хмыкнули.

— Черт побери, вот это парень что надо! — сказала Олли.— Мне бы такого!

Капитана словами этими как обожгло — будто кто-то вонзил ему в сердце раскаленный гвоздь,— и он только-только собрался снова посетовать на свою участь, на клочок земли, с которым вечно приходится возиться, на бабу свою и ребятишек, как Бурелль опять заорал:

— Тысяча чертей, парены! Ящик, по-твоему, каменный, что ли? Да ты ж его прямо на дороге поставил, того гляди, в воду свалится!

Четыре больших шага сделали короткие ноги Бурелля, и не успел еще капитан вскинуть голову, как увидел, что бывший чемпион по борьбе обхватил ящик, не обра-

щая внимания на ручку, и, пыхтя, поднимает его вверх, все выше и выше.

А у Бурелля стучит в мозгу одна мысль: ящик, может, не такой и тяжелый, но держать его ух как неловко! Держишь его у груди, подбородком прижавшись к крышке, подпираешь днище коленями, а между тем тянешь ящик все выше. Но пуще самой тяжести мучит его страх: что, если опять?.. С того самого дня, как Андерссон сломал ему хребет, Бурелль ни разу не решился поднимать тяжести. Но сейчас ящик давит ему колени, а в мозгу жужжит все та же мысль: «Что, если опять?..» Перед глазами у Бурелля поплыли круги, замелькали звезды. Среди звезд всплыло лицо Олли — глаза ее что два больших солнца. «Да, но что, если?..» — отчаянно пронеслось в мозгу.

И тут случилось то, что должно было случиться в изношенном теле борца. Что-то вдруг кольнуло в спине и судорогой свело живот. Еще мгновение — и в голове щелкнет, как в прошлый раз. «Держу, черт побери, не выроню!» — подумал Бурелль, но и додумать не успел, как выпустил ящик из рук.

Ящик перевернулся, но к нему подбежал Валле и успел ногой остановить его, так что ящик лишь опрокинулся набок и так и остался лежать. Капитан да все прочие ждали уже, что он вот-вот плюхнется в реку, и, разинув рот, застыли на месте. Но Валле проворно схватился за одну из ручек и оттащил громадину от воды.

Олли первая нарушила тишину:

— Уж как речное дерьмо всплеснулось бы, плюхнись в него этот сундук!

За ней капитан-рулевой:

— Молодец, парень, вовремя оттащил ящик!

Тут и народ весь зашумел, под конец и сам Бурелль крикнул:

— Проклятье!

Но, может, и он не так уж зол на свою незадачу, хоть и смирил Валле сердитым взглядом и смущенно поднял гла-

за на Олли,— «а глянь, позвоночник-то выдержал», думает он. Но все же ему потребовалось присесть, и он опустился на камень, который годами лежал тут у причала, дожидаясь, когда на него сядет Бурелль.

Валле только и успел вставить:

— Да, Бурелль, вот вам и мешок с картошкой!

— Иди-иди! Кинопередвижкой займись! — приказал ему Бурелль.

— А кто обещал помочь мне? — спросила Олли.

Опоздал, и тут опоздал; Бурелль поднял глаза: проклятый парень уже перетаскал на берег почти все Оллины вещи, а сейчас вдвоем с капитаном он сносил по трапу связку палаточных столбов, доски и брезент.

— Я обещал,— ответил Бурелль,— но когда имеешь дело с таким остолопом, как этот Валле...

— Ты лучше бога возблагодари за этого парня! — крикнула ему Олли, как отрезала, так что Бурелль всерьез оскорбился, встал и с трудом поплелся к ящику с кинопередвижкой.

Одному богу ведомо, как Олли ухитрилась поставить павильон с тиром и аттракционом для бросания колец, но как бы то ни было, к восьми часам вечера он уже высился в одном ряду с другими тирами, каруселями, качелями и палатками гадалок. Стоял погожий вечер, один из отраднейших вечеров нынешнего лета, и хозяева увеселительных заведений, все эти цыгане, полуцыгане, четвертьцыгане и чистокровные шведы, такие, как Валльберг, Блюмстер, Якобссон-Черный, тетушка Брант со своим Калле и бывшая наездница Лисандра Ульсен, сбежались сюда потрясти карманы зевакам, а заодно и покрутить любовь друг с другом, отчего вид у одних был благодушный, у других — несчастный, растерянный, но подчас и плутоватый. Дьявол шнырял повсюду и сеял отраву в душах крестьянских парней, пухлые бабы с укором воздевали к небу глаза да про себя все же думали, что здесь очень весело, а старикам, известно, не терпелось выпить. Ровно в восемь Олли сварила себе на спиртовке кофе и послала стеснительного, но услужливого

местного паренька в лавку — купить для нее ковригу и сто граммов мясного фарша, который она тут же съела с перцем и солью по привычке, перенятой у деда прежнего своего мужа, затем, напудрив лицо и накрашившись, она открыла свой павильон.

А старая кинопередвижка Бурелля давно уже тарахтела — три четверти часа назад начался первый сеанс.

— Черт возьми, нынче твой черед давать пояснения! — сказал Бурелль своему помощнику Валле. Тот ухмыльнулся:

— А что, хозяин, никак вы охрипли?

— Валяй, валяй, парень, пора начинать! — отвечал Бурелль так добродушно, как только мог, хоть и был не в силах скрыть злобу.

Валле привел в готовность кинопроектор, проверил свет и вставил ленту. Когда в сарай битком набилось народу, он погасил у себя над головой лампу и послал горсть пляшущих человечков прямиком через пыльный воздух на грязный экран, где они сразу же приросли к серому полотну. Валле задумался слегка и начал:

— Крестьяне и прочий люд, слушайте, слушайте! Сейчас вы увидите гибель Сан-Франциско — вам, может, доводилось об этом слышать. Вот, видите, дождь идет! Но это не беда. И молния, видите, сверкает, да только вы не пугайтесь — бывает ведь и хуже! А тот ли это город Сан-Франциско, который в Америке, я, право, вам не скажу. Считайте, что это он и есть...

От этакой развязности Валле даже сам Бурелль настолько опешил, что не сразу решился одернуть помощника. Кое-кто из зрителей даже перестал глядеть на ожившее полотно экрана и уставился на этого нахала Валле. Но Бурелль от злости чуть не подскочил, хоть и с трудом удержался от брани: вдруг Валле все же одумается и вырулит продолжение на верный путь.

И Валле вырывает — по крайней мере на какое-то время. Он знай себе крутит ручку, а аппарат грохочет, трещит, угрожающе покачиваясь на своем деревянном штативе, и весь этот треск вновь перекрывает ухарская речь Валле:

— ... а вот, стало быть, перед вами люди скачут. А позади них что-то там колышется, на грязную занавеску смахивает, это, значит, пожар. Дым-то небось видите! А скоро увидите, как рушится дом. Вот, видели?

Публика захвачена зрелищем, и болтовня Валле, как и треск аппарата за спиной, ей уже не помеха... А все же лента скачет и трещит больше обычного — и Валле смолкает, прислушивается.

— Говори же, чертов сын! — шипит Бурелль.

Но Валле заметил, что кинопередвижка забарахлила, наверно, слишком сильна была встряска при выгрузке на пристань. Металлическая заслонка между источником света и крутящейся кинопленкой зацепилась за что-то и не встает на место, когда Валле замедляет ход ленты, — а он сбавляет ход, чтобы растянуть время и еще больше разволновать публику. Валле правой рукой вертит ручку, а левой теребит заслонку, силясь ее отцепить. Пальцы его огромной тенью ложатся на экран, и кусочек гибели Сан-Франциско можно увидеть разве что в левом верхнем углу.

— Что на тебя нашло? — зашептал Бурелль. — Побаловаться, что ли, решил?

Валле для пробы снова замедлил ход пленки, и, похоже, заслонка и правда вот-вот отцепится — да, Валле уверен, что она совсем отцепится, как только он кончит крутить фильм. И теперь он еще медленнее крутит его — осталось ведь всего несколько метров пленки с гибелью Сан-Франциско.

«Последнее дело — такому болвану прислуживать!» — думает он.

Карбидная лампа шипела, мешая ему думать, и Валле закрыл глаза, чтобы легче было размышлять. И вдруг накатил злоба — искусственный гнев, который он сам в себе разжег, — не выходки ведь Бурелля породили его несколько часов назад, а улыбка Олли, солнечным зайчиком скользнувшая по ее лицу.

«Пли!» — думает он и начинает:

— А сейчас будет последний взрыв! Что, видели?

Валле стал еще медленней прокручивать ленту, но заслонка не опускалась никак, и снова он вынужден был побыстрей вертеть ручку.

— Это все одно надувательство, мужики! Все обман, чтобы Буреллю обвести вас вокруг пальца! Только дурак примет эти картинки на веру!

— Подлец! — закричал Бурелль и схватился за ручку, чтобы замедлить ход ленты, и Валле не успел предупредить беду — опоздал. Бурелль сверх меры сбавил ход, фильм стал мигать-мигать, весь город Сан-Франциско дрожал — и вдруг раздалось «хлоп-хлоп», как будто из бутылки вылетела пробка. И на экране словно взорвался город, полотно запестрело цветными пятнами, и в тот же миг из старого кинопроектора с шипеньем выбилось пламя.

Валле метнулся в сторону, но успел захлопнуть крышку от ящика с кинолентами. Бурелль взвыл и ногами стал отбрасывать газовые баллоны, и тут — в первый и, должно быть, последний раз — в старом амбаре началась паника. Плотное облако ядовитого дыма почти мигом заволокло помещение, но в суматоху врезался пронзительный голос Валле:

— Двери откройте!

Пинок в каждую дверь — кто тайком подглядывал в щель, пусть уж не взыщет, — они широко распахнулись, и спустя две-три минуты все зрители, невредимые, но огорошенные и заливаясь кашлем, уже были на улице. Вышел и Валле — он тащил ящик с кинолентами, а за ним Бурелль, обжегший руки, — ногой он катил перед собой газовый баллон. Бобина с пленкой сгорела, теперь загорелся штатив, и не успел Бурелль этому помешать, как кто-то из крестьянских парней залил всю кинотехнику ведром воды.

— К черту! — хрипло взревел Бурелль. — Зачем мое добро губите!

Но парень невозмутимо ответил: «Погибать так погибать», для пущей верности он вылил на аппарат второе ведро воды, и огонь, понятно, погас.

Светлый вечер, субботний вечер — без жестоких драм.

Лишь лес вокруг, который никто не видит; внизу река, которую никто не слышит. И где-то посреди этого мира стоит с несчастным видом Бурелль. Руки у него обожжены, и обожжена душа, жжет в желудке, в спине, но больше всего — в кошельке. В эту светлую ночь господь забыл подарить своей милостью кое-кого, кто ни разу в жизни своей ничем его не оскорбил. Бурелль не то чтобы верил в бога, но, подобно всем прочим смертным, привык рассчитывать на милость неведомых сил и, само собой, затаил нынче на них обиду.

Публика великодушно не стала требовать платы назад, да к тому же за свои деньги она вдоволь всего насмотрелась. Но кинопередвижка так пострадала, что починить ее на месте нельзя, а главное, для Бурелля теперь потянется вереница совершенно пустых дней, тогда как хозяева каруселей, качелей, тиров, да что там — самая последняя из гадалок — изрядно набьют карманы деньгами зевак.

У амбара остались только Бурелль и Валле, стоят глядят друг на друга.

Сказать по правде, Валле смешно. Бурелль презрительно оглядел его с головы до ног, справа налево и слева направо — только и осталось, что кругом обойти. Бурелль набылся, чуть раздвинул короткие ноги и встал в позицию, как принято у борцов. Валле малость перепугался: все, что до этого он пережил и перевидал, передумал и перечитал, вдруг пропало куда-то — сейчас он подчинился только чутью. Но он не выказал страха — отчасти из гордости, отчасти потому, что кругом стояли зрители, а еще, чтобы Бурелль не надеялся взять над ним верх. Как всегда, он держался развязно.

— Скотина ты, Валле, — не спеша выговорил Бурелль, казалось, он долго размышлял над тем, что же представляет собой этот Валле, и теперь наконец нашел верное слово. — Да, скотина! — повторил он еще тише, будто про себя.

— Ах вот оно как! — с дерзким изумлением откликнулся Валле.

Бурелль молча огляделся вокруг. Он не находил сейчас

тех холодных, полных достоинства, но притом насмешливых слов, которые желал бы найти, и злоба, кипевшая в нем, обрела самый простой выход. И тогда...

— Ступай отсюда ко всем чертям и больше не смей показываться мне на глаза! Смотри пошевеливайся — не то руки-ноги оторву! Вон с глаз моих, идиот безмозглый, пожиратель газет (вот оно, наконец, изысканное словечко!), жалкий расклейщик афиш, трубочист, пес безродный, мошенник, вор, мужицкое рыло, каторжник...

— От такого слышу, — невозмутимо ответил Валле. — Во-первых, это по вашей вине вспыхнула пленка, а во-вторых... — тут Валле сделал паузу в расчете на зрителей, жадно наблюдавших за ссорой, и продолжал: — Во-вторых, вы нынче весь день разыгрывали из себя шута горохового, на потеху всему здешнему люду. А в-третьих...

Тут Бурелль как бросится на него. Но и Валле не мешкал — Бурелль и сообразить ничего не успел, как Валле двинул его в солнечное сплетение. Может, даже и не так сильно двинул, но удар пришелся в самое уязвимое место, и Бурелль мигом скорчился, схватился руками за живот и прохрипел:

— Убийца!

А потом сполз прямо на голую землю.

Валле тут же смылся, но мужики, стоявшие чуть поодаль, обступили Бурелля и принялись глазеть на него, толком даже не поняв, что же тут произошло. Так жалок сейчас Бурелль и таким смешным кажется его гнев этим людям, только что бывшим свидетелями гибели Сан-Франциско и многих других трагедий. Наконец кто-то из стоявших кучкой крикнул ему:

— Что с вами, папаша? Ничего страшного, надо думать?

Тут Бурелль вскинул измученное свое лицо и проревел:

— Сброд проклятый, да пропади вы все пропадом!

Осторожными шажками протиснулся сквозь толпу Калле, чахоточный муж толстухи Брант — хозяйки воздушных качелей, и смотрел Калле так, будто спешил что-то разносить. Секунду-другую он рассматривал Бурелля своими

скорбными глазками, а затем сказал ему тоненьким голоском:

— Сейчас ты похож на Сусса — самого дряхлого льва из зверинца нашего кума Иоакима... А у меня вот как раз время выдалось — хочешь, помогу?

Старый лев Бурелль, должно быть, и сам понимал, что к чему, но измученный и погасший, он только отмахнулся от Калле. А все же слова Калле будто холодный нож вошли ему прямо в сердце.

Когда из амбара выветрился почти весь дым, Бурелль поднялся и тяжелой походкой прошел внутрь — посмотреть, в каком виде теперь кинопередвижка, столь изрядно тронутая огнем.

Под потолком по-прежнему горел фонарь, освещая столпившихся вокруг аппарата зевак — крестьянских парней, баб и ребятишек. Кто осторожно ощупывал неостывшую еще киноустановку, а кто крутил ручку проектора и гримасничал, передразнивая Валле: «Вот, смотрите, город Сан-Франциско, а вот, видите, дом... бух-бух, трах-трах...»

— Бросьте это к чертовой матери! Не трогайте аппарат! — сказал Бурелль.

Сняв с потолка фонарь, он внимательно осмотрел проектор. Весь аппарат был покрыт мокрой копотью. Когда парень залил его водой, что-то щелкнуло в несчастной машине, а сейчас Бурелль увидел, что треснула большая линза, а заодно и линза объектива. Заслонка все еще не встала на место, обе катушки — как верхняя, так и нижняя — покорежились от огня, а деревянный штатив обуглился до половины. Один газовый баллон валялся тут же, являя собой плачевное зрелище: манометр раздавили ногами.

Тяжко-тяжко вздохнул Бурелль, отошел в угол и сел на ящик, перевернутый вверх дном. Он понял: этот аппарат так скоро не запустишь в работу, даже через неделю, а может, вообще никогда не запустишь — такая большая починка стоит больших денег.

«Хорошо этой Олли», — подумал он.

И стал размышлять. Олли нужен в подмогу крепкий мужчина, и этим мужчиной мог бы стать... А что, если?.. — шепнула ему мыслишка.

«Что, если?..» — думал Бурелль. И сразу взбодрился телом и душой. Все сущее вдруг заслонил тот вечер, несколько лет назад, когда он вышел на бой с Юлле Андерссоном. Необычный это был бой. Сойдясь на ковре, соперники взглянули друг на друга с ненавистью. Юлле, должно быть, подумал: «Ага, это ты, поганец, подбираешься к Олли!» А Бурелль думал так: «Ты, значит, муж Олли! А вот я и сломаю тебе хребет!»

Тут-то они и сцепились. Дело шло не о деньгах, не о чести, не о любви публики — нет, на этот раз залог был куда крупнее.

Юлле знал свое: «Не выпотрошу нынче дьявола этого — он меня выпотрошит, да еще, чего доброго, отобьет Олли!» А Бурелль думал: «Сейчас или никогда!»

Здесь же, в цирке, сидела Олли, и глаза ее сияли как два солнца и светили обоим. Вдруг что-то треснуло в спине у Бурелля, и все — песенка его была спета. Юлле не успел еще его отпустить, как что-то треснуло и в голове у Бурелля тоже, да притом будто оборвалось в животе как раз в том самом месте, куда нынче ткнул его кулаком Валле. А Юлле этому многих случалось потрошить, к примеру, он уложил финна Эйно за то, что тот заглядывался на Олли, хоть прежде они и были друзья — водой не разольешь, да еще, догадывался Бурелль, и Германа Хагеля тоже, не говоря уже о том парне из Эланда, который — дурень этакий — на глазах у самого Юлле преподнес Олли букет роз. Да, Юлле не знал пощады, зато теперь вот сам лежа лежит.

Нет уж, подумал Бурелль, нынче, почтеннейший Юлле Андерссон, мой черед! Я-то крепко стою на ногах, хоть и спина и живот у меня с ущербом, меня небось вот так просто не сплывишь в больницу, не той породы я человек.

Бурелль поднялся с ящика, встал на ноги. Ох, ох! Он рассмеялся. Ох! Вышел из амбара — ох! ох! — и зашагал к палатке Олли.

Чем завершился бы этот вечер, будь у Бурелля прежняя сила и не будь он вынужден помнить о своем сломанном позвоночнике и больном животе, да притом успеет он хотя бы пропустить две-три рюмки, — сказать нелегко. Конечно, нынче Олли выручил Валле — он малый не промах, — но ведь на другой день с таким же успехом мог бы помочь ей Бурелль! А то ведь, когда Бурелль увидал, как Валле в палатке у Олли небрежно поигрывает стальным крюком, каким подбирают кольца, а рядом Олли — обольстительней не сыщешь — стоит, прислонясь к перилам, и завораживает публику своим взглядом, тут так взыграли в сердце Бурелля ревность и злоба и так остолбенел он, что совсем позабыл весело окликнуть Олли, как ранее намеревался, и этим дать ей понять, что отныне берет в свои руки ее дело, равно как и ее самое. Он глядел на нее разинув рот. Но изумление его длилось всего лишь миг — и тут же он отчетливо понял все, всю расстановку сил. Нет, другое изумило Бурелля — как он раньше не смекнул, что к чему, и так долго был слеп и глух; он даже спохватиться не успел и все так же продолжал идти к Олли. А она, может, и не заметила его, а если и заметила — не подала виду.

— Сгорело твое хозяйство, Бурелль? — спросил его кто-то из собратьев по ремеслу, стоявших тут же, и он безотчетно ответил:

— Да, все сгорело.

Он повернулся кругом и побрел мимо качелей и каруселей, деревянных киосков, палаток — заведений старухи Брант, Лисандры Ульсен, Вальберга и всех прочих. Его окликали, ему улыбались, как улыбаются люди погожим вечером, в один из лучших вечеров этого лета, когда и погода славная на дворе, и нет отбою от публики, которой долго некуда было девать деньги. Но Бурелль словно ослеп и оглох. Он шел и размышлял, а ревность и злоба кипели в его душе. Что же завтра будет, бегло подумал он, и тут же мысли его обратились к Юлле Андерссону, который где-то валяется на больничной койке и, может, никогда уже и не оправится, но больше всего, конечно, думал он о Валле

и Олли, об Олли и Валле. Стоит ей только мигнуть — и любой тут же подскочит, думал он.

Одно утешение, хоть и малое: Олли скоро уж тридцать пять, а парню и восемнадцати не сравнялось. Стало быть, и этого ей не сберечь, а мне-то небось все равно! Она же старуха, приглядеться получше — она не так уж и хороша, не то что прежде.

А все же как она хороша! Боже праведный, как хороша!

Бурелль сложил свое имущество. И побрел к себе на квартиру. Где-то еще теплилась в нем надежда, что вот-вот объявится Валле, но время шло, а Валле не объявлялся. Стало быть, он там, с ней. Весь мир уже погрузился в сон, все спят, кроме Бурелля. А к нему сон нейдет и нейдет.

И ни один пароход до утра не отчалит отсюда. Боль в спине и в груди, болью сведено все лицо. Бурелля прошиб пот, и тут же его зазнобило. А что, если... — думает он.

...Что, если мне суждено скоро схватиться со смертью...

Дни ее тревоги

Сразу же после того, как Еранссон по-настоящему обручился с Евгенией и даже обменялся с ней кольцами, он стал почти что порядочным человеком, а Евгения, со своей стороны, взяла ссуду в банке и открыла бельевую лавку. К этому времени она превратилась в такую добродетельную женщину, что перестала отвечать, когда некоторые мужчины здоровались с ней и делали ей всякие тайные знаки. Но, став хозяйкой бельевой лавки, она вновь преобразилась — ее круглое лицо собиралось в дружелюбнейшие складки, и она кивала, в сущности, более усердно, чем следовало. Она отвечала даже на приветствия сержанта, станционного писаря и журналиста, и эти господа были очень озадачены и снова стали тешить себя приятными мыслями о Евгении, которую все они, как им казалось, хорошо знали. Она снова подала им надежду, она, Евгения, которая прежде не один год служила тайной услугой их холостяцкой жизни, и теперь они, конечно, растаяли, когда им показалось, что она стала прежней. Недоразумение зашло так далеко, что в один прекрасный день Евгения была вынуждена сказать себе: «Нет, пора кончать с ними здороваться, а то сплетен не оберешься».

То, что в городе сплетен не оберешься, — явление вполне обычное. Город для сплетен и существует, дома построены впритык друг к другу, чтобы люди могли часто встречаться и сплетничать — без сплетен город зачахнет. В глаза люди говорили Евгении: «Да-а, вот оно как» — с такой ехидной, протяжной интонацией, что в слова эти можно было вложить какой угодно смысл. Люди говорили: «Вот, значит, как, а я-то думал, что она наконец заполучила того, кто ей ну-

жен,— после стольких-то бесплодных стараний! А может, она и не старалась всерьез, может, это была просто распущенность? У нее ведь был один мужчина здесь, другой там, третий в Америке — верно я говорю?»

Неважно, сидела Евгения с кислой миной или улыбалась. Никто не принимал во внимание, что улыбки Евгении помогали сбыту бельевых товаров, все, конечно, приписывали их злему умыслу, и людские толки, которые улеглись, пока она ходила с пьяницей маляром Ёранссоном, теперь поднялись с новой силой, и вползали в дома, и были у всех на устах. Отныне все, что бы ни делала и ни говорила Евгения, перетолковывалось ей во вред, словом, сплетням не было конца.

Ёранссон уже почти два месяца, можно сказать, не пил и более того, стал относиться к жизни серьезно и принял несколько важных решений. Каждую субботу после обеда он оставлял у Евгении большую часть своей получки и в будние дни тщательно избегал пивных. В субботу вечером они с Евгенией ходили в кино, по воскресеньям — на прогулку, и отношения их выглядели прочными, почти супружескими; и когда Ёранссон по привычке к этому, такая жизнь стала ему нравиться. Будущее представлялось ему маленькой уютной бельевой лавкой, где он сидит в задней комнате и ведет бухгалтерию или отдыхает от своих малярных работ, а то играет с милыми маленькими детишками, а в это время Евгения стоит за прилавком, любезно обслуживая покупателей и загребая денежки. Это не были низменные или порочные мечты, рожденные несбывшимися желаниями или стремлением урвать слишком много от мещанских благ этого мира, нет, это была кроткая и красивая мечта о тишине, покое и счастье после всех заблуждений молодости и долгих лет пьянства. Ёранссон и в самом деле начал превращаться в серьезного, добропорядочного человека.

Он слышал сплетни о Евгении. Он не собирался обращать на них внимание: уж он-то знал свою любимую женщину, они два года хороводились, прежде чем обменяться кольцами. Что прошло, то прошло, считал он вполне разумно; и если

Евгения раньше была легкомысленна, то ведь и сам он не был святым. Главное, чтобы теперь все складывалось к лучшему и магазин бельевых товаров приносил доход.

Он жил вместе со своим напарником Юханссоном, и тот как бы мимоходом обронил несколько слов насчет стационарного писаря.

— К черту, — сказал Ёранссон, — ты, парень, это дело брось!

И сказал так сурово, что Юханссон прикусил язык. Но сплетня, разумеется, распространилась, потому что у сплетни тысяча ног и тысяча хорошо подвешенных языков. Кто-то скажет: «Марш, сплетня, счастливого тебе пути, отправляйся в дальнюю дорогу», и сплетня послушно отправляется. На этот раз вполне очевидным источником сплетни был не кто иной, как толстуха фру Блум, воплощение чистоты, чья дочь, непорочный ангел, была модисткой и подумывала открыть магазин бельевых товаров.

— Видишь, Ёранссон, — сказала однажды Евгения с досадой, — видишь, на что они замахиваются.

— А ты плюнь на них, Евгения, — посоветовал Ёранссон. — Потому что я-то плюю на них, и пусть только кто-нибудь посмеет разинуть пасть при мне!

Но как бы там ни было, всегда найдется кто-нибудь, кто осмелится разинуть пасть и прошипеть ядовитое слово. Прямо-то ничего не говорили, но высказывались намеками:

— А знаешь, Ёран, сержант этот страх какой бабник. Или:

— Вы слышали, Ёранссон, журналист-то Андерссон перешел в другой ресторан обедать. Пять лет обедал в «Привокзальном», а тут вдруг перецел в гостиницу «Новую».

Ёранссон прекрасно знал, что гостиница «Новая» как раз напротив бельевого магазинчика Евгении, но в ответ только смеялся:

— Не понимаю, мне-то что до этого, черт побери!

Он был именно таким, каким ему хотелось быть: спокойным, рассудительным, трезвым. В конце концов Евгения тоже стала смотреть на всю эту возню почти спокойно и, не-

смотря на сплетни, налаживала свою бельевую торговлю. Она сказала:

— Весной мы с тобой поженимся, Ёран, и черт меня подери, если тогда всякие разговорчики не прекратятся.

— Золотые твои слова, женщина,— сказал маляр.— Да я и так прекрасно знаю, что ты не бегаешь за мужчинами, хотя все жалкие неудачники в этом городе и бегают за тобой.

Твердости Евгении было не занимать. Как-то раз она встретила журналиста Андерссона, и он заговорил с ней в том фамильярном тоне, к какому привык с прежних времен:

— Как дела, Евгения, моя милая? Знаешь, я всегда обедаю здесь, напротив. Не заглянуть ли мне к тебе перед обедом?

А Евгения на это ледяным тоном:

— Разрешите поставить вас в известность, господин Андерссон, что если вы ищете компанию, то обратились не по адресу. Всего доброго.

Сержант, понаторевший в обращении с женщинами, тоже, разумеется, сделал закидон:

— Вот как, Енни, ты открыла лавку! Разумно, скажу я тебе, очень разумно. Я теперь живу на Кунгсгатан, в доме унтер-офицера Каллина. Будешь идти мимо, заглянула бы как-нибудь, а, милашка?

— Постыдился бы,— сказала Евгения.

Однажды в лавку торжественно вступил станционный писарь и, оглядевшись вокруг, ехидно улыбнулся:

— Вот оно как, вот чем ты кончила, милая Енни, да уж, не ожидал от тебя. Пьяница маляр и бельевая лавка! Но ты ведь знаешь: в трудную минуту ты всегда найдешь поддержку у меня.

— Вы — нахал, а коли не нравится вам моя лавка,— сказала Евгения,— то вот вам бог, а вот порог, ну а уж мы с Ёранссоном в этой лавке как-нибудь без вас управимся, и все тут.

Попытки прежних знакомцев вновь привлечь к себе Евгению потерпели полный крах. Конечно, ангелом она не была, да только все же она считала, что Ёранссон,

ставший ради нее трезвенником, вполне достоин того, чтобы они в мире и согласии прожили вместе до конца жизни.

Но однажды кто-то обронил короткое словцо, которое искрой запало Евгении в сердце. Это было имя.

Эмиль.

Обронила словцо одна женщина, забежавшая в лавку за тесьмой, и сделала она это не по злобе, а просто не подумавши, потому что сильно торопилась. Как бы то ни было, а словцо было подобно упавшей искре, которая, уж если она не погасла, разгорается все жарче и жарче, а упавши в сердце Евгении, слегка иссушенное торговлей и городскими толками, она разгорелась в настоящий пожар.

Эмиль. Эмиль Смитт. Когда-то они вдвоем, он и Евгения, ходили зелеными тропинками юности по Городскому и Народному и другим паркам. Эмиль был такой сильный и добрый, а когда он уехал в Америку, то стал, как утверждали люди, присылать домой, старику Смитту, деньги. Да и вообще болтали много всякого. Потом долгие годы от Эмиля не было вестей, он как в воду канул, а у старика Смитта дела пошли под гору. Ссохшийся от горя и воздержания, он служил теперь сторожем в Доме общества трезвости, а также истопником в новом кинотеатре и, встречая Евгению на улице, молчал как рыба и только ехидно улыбался. Однажды, увидев, что он идет мимо, она не выдержала и распахнула дверь. И сразу взяла быка за рога:

— Это правда, что Эмиль возвращается из Америки?

Старик прокашлялся и сплюнул в сторону; он выглядел согбенным и жалким. Потом снизу вверх посмотрел Евгении прямо в лицо:

— Да, Енни, так оно и есть, он вспомнил свою старую родину.

Прозвучало это горестно, но такая уж манера была у старика. Он еще больше сжался и захромал прочь: одна нога у него была короче другой.

На сердце у Евгении была тревога, а на лице — легкое беспокойство. Покупателям она говорила:

— Да, я чувствую себя замечательно, просто до ужаса замечательно, только вот от погоды иногда бывает слабость, а так я чувствую себя замечательно, просто до ужаса.

Люди считали, что она выражается красиво, как образованная, но никто, даже сама Евгения, не догадывался, что говорит она чистейшую правду. Эмиль. По ночам она думала о нем, и никто ей не мешал, ведь она стала теперь такой добродетельной, что Ёранссону, как уже было упомянуто, приходилось жить отдельно. Пока не поженимся, ты спать здесь не будешь, решительно повелела Евгения, и Ёранссон, который вместе с трезвостью обрел и высокую нравственность, охотно подчинился ей. И поэтому Евгения жила одна при своей лавке и мучилась по ночам, в потемках мечтая об Эмиле. Он выступал из мрака, говорил с ней и вопрошал: Евгения, Енни! Что ты наделала? Что ты собираешься сделать?

У этих снов не было конца, и Евгения отвечала в темноту:

— Что ж, никуда не денешься. Уж какая есть, такая есть, а ангелом я не была никогда.

Честно говоря, еще Евгения очень боялась крепких кулаков Эмиля.

Но словцо носилось по городу, как сука во время течки, останавливаясь то тут, то там. Эмиль, Эмиль Смитт, вы слышали, он едет домой, у него есть деньги, он здорово заработал и теперь поможет старику отцу снова встать на ноги. А что я всегда говорил, Эмиль в порядке, он всегда был в порядке, хоть и не давал о себе знать столько лет!

Маленький городок, где дома сбились в кучку, теснимые холодом и тьмой, ждал. Эмиль все не ехал, но люди говорили: скоро он будет здесь.

И словцо настигло могучего рыцаря с орлиным носом и прекрасными глазами, маляра Ёранссона, мужчину, который стал почти что трезвенником ради любви. Словцо, как всегда, приблизилось к нему ползком: оно было трусливой сукой, побитой собакой, которая все равно верна своему хозяину, потому что больше у нее никого нет.

— Ёран, Эмиль Смитт возвращается домой.
— Какой такой Эмиль Смитт?
— Ну да, верно, ты же его не знал.
— А кто это?
— Ах вот оно что, ты ничего даже не знаешь.
— Да скажешь ты, наконец, черт тебя побери, кто такой этот Эмиль?

— Конечно, если ты хочешь. Он ходил с фрёкен Сундстрём, твоей невестой. Ну да, ты его не знал. В общем, теперь он возвращается из Америки, ему там улыбнулось счастье, по крайней мере так говорят. Чертовски славный парень, правда, любит иногда побуянить, но зато душа нараспашку. Вот, значит, как — ты, стало быть, ничего и не знал обо всем этом...

Ёранссон задумался. Новость была ему неприятна, он не мог понять почему — ведь он ни на минуту не допускал мысли, что его Евгения начнет дурить. Но словцо лизало ему ноги, он давал ему пинка, однако оно возвращалось: Эмиль...

Настала очередь Ёранссона бодрствовать по ночам. Он не мог заснуть, подобно человеку, который боится воров. Такому человеку вечно чудятся крадущиеся шаги, и сердце у него то и дело падает. Что с тобой, бедное, измученное сердце честного работяги маляра? Вот, опять упало. Не скрипнула ли дверь моего гнева, не приоткрылась ли осторожно? Вот подлещы, неужто не могли они держать язык за зубами и не талдычить про своего Эмиля, плевать я хотел на всех Эмилей на свете; Эмиль, тьфу, ну и имечко, и надо же, чтоб так звали человека в нашем образованном обществе! А теперь я буду спать. Спать! Не все могут шляться по городу и болтать чепуху, и не всем дано вернуться из Америки, и раскрывать рот, и показывать золотые зубы, и хвастаться своими денежками. Но и другой тоже может заполучить денежки. Говорят, он силач? Видали мы таких, не одному крикуну утерли нос. А теперь я буду спать...

Но Ёранссон не спал. Сна не было ни в одном глазу, и случилось, он вставал и, расхаживая взад и вперед, будил своего соседа.

— Ты что, заболел, парень? Ложись, черт тебя побери! Днем Ёранссон приходил в себя, насвистывал еще громче и фальшивее обычного и без умолку болтал о всякой всячине; и он все время затевал состязания на пальцах: кто разогнет?

— Ну и сила у тебя в пальцах, Ёран!

— Видали мы таких, уж будьте уверены! А ну давайте сгибать руки.

— Да ты просто чемпион по сгибанию рук! Где ты научился этому приему — ведь тут явно дело не просто в силе!

— Приему! Ты думаешь, для этого нужны какие-то приемы? Нет, тут надо просто иметь крепкие кости. А ну, кто кого положит на лопатки?

— Просто чертовщина какая-то! Но не стоит тебе из-за этого напускать на себя такой высокомерный вид.

— Высокомерный? Слышали вы что-нибудь подобное? Где вы, сударь, подцепили это словечко? Хочешь сказать, что я задираю нос, — так и говори! И вот тебе за это...

Р-раз!

Драка.

— Что, скажи на милость, с тобой стряслось, Ёран? Ты что, совсем псих?

— Вот тебе за психа, получай!

Р-раз!

Пришлось кому-то вмешаться и сказать: пошли в пивную, закончим дело полюбовно. Докажи, что ты настоящий товарищ, Ёран, не дури. Вы ведь работаете вместе два года, вы товарищи по работе, так или нет? — а ты ведешь себя как остолоп.

Ёранссон наконец успокоился и пошел вместе со всеми, и в тот день уже никакой работы больше не было. Они наливались, напились в стельку, как может напиться только маляр, да и то если он в ударе. Некоторые пали в борьбе с мерзким на вкус винным спиртом, который хозяин сбывал им из-под полы, а у других сердца распахнулись, и, как всегда, они почувствовали себя сильными, умными, красивыми и ловкими. Решения, которые прежде были приняты

лучшим «я» Ёранссона, не выдержали, как подгнившие столбы забора, и теперь в загонах его души могла свободно хозяйничать всякая скотина. Поздно ночью Ёранссон явился к Евгении и стал рваться в дом с таким шумом, что все вокруг проснулись и начали прислушиваться.

— Господи, что это? Ёранссон, Ёранссон,— сказала Евгения.

— Открой, Евгения! Хочу с тобой поговорить!

— Да что случилось?

Ёранссон вошел, сел на стул и тупо уставился на Евгению, которая зябко натянула одеяло до самого носа.

— Скажи же, ради бога, что стряслось, Ёран? Ты напугал меня до смерти.

У Ёранссона потеплело на сердце, а мысли еще больше смешались, и он пододвинул стул поближе к кровати:

— Поцелуй меня, моя крошка.

И Евгения высунула носик из-под одеяла, закрыла глаза — но тут же широко открыла их, как человек, который ходит с закрытыми глазами по правилам игры, но вдруг чувствует, что оступился.

— Боже милостивый, от тебя разит спиртным! Ты пьян, Ёранссон?

Она вперила в него такой жесткий взгляд, что он отодвинул стул. Ответил он озадаченно и не сразу — будто предварительно порылся в своей душе и нашел там много скверного.

— Ну да, так оно и есть, но ты будь умницей и только скажи мне кое-что, и я тут же уберусь восвояси.

Евгения и была умницей: она молча смотрела на него до тех пор, пока Ёранссон не поднялся и не ушел без возражений. А она думала: ну вот, опять пошла пьянка. А вдруг у него еще не все дома? Разве можно представить себе, чтобы Эмиль ушел несолоно хлебавши, ушел точно оплеванный? Разве мог Эмиль быть вот так похож на побитую собачонку? Да никогда в жизни, и все тут!

И после этой немой беседы с самой собой Евгения потушила свет и попыталась уснуть.

Однако же Ёранссон и сам был недоволен своим поведением. Не потому, что он сробел перед Евгенией, вовсе не поэтому — ему было плохо и стыдно оттого, что он напился пьян. Такое больше никогда не случится, решил он. Это надо же — припереться к Евгении посреди ночи, чтобы спросить, что она думает об Эмиле! Да какое, к черту, мне до него дело, пусть сам о себе заботится, а я уж позабочусь о нас с Евгенией, и мы в расчете!

Но злополучное словцо снова лизнуло ему ноги. Он белил потолок и балансировал в неустойчивой позе на доске, перекинутой между двумя деревянными козлами, и тут рядом, в комнате, один из его досточтимых коллег обратился к другому досточтимому коллеге:

— В субботу вечером Эмиль Смитт приезжает из Америки — так мне сказал старик, его папаша. Схожу на станцию, посмотрю, признает он меня или нет.

Малярная кисть будто налилась свинцом. Она потянула Ёранссона за собой, козлы разъехались в разные стороны, доска перевернулась, и Ёранссон соскочил. Соскочил он удачно, но все равно потом сел на пол и задумался.

— Что с тобой случилось, парень? — спросили досточтимые коллеги.

— Проклятое козлиное племя, — сказал Ёранссон, имея в виду и деревянные козлы, и своих коллег, и целый свет.

В минуту слабости он снова не устоял перед рюмкой, и в пивной повторилась прежняя история: младшего из досточтимых коллег послали за спиртом к торговцу из-под полы. На этот раз, вместо того чтобы драться, Ёранссон пел, но в разгар веселья голос его пресекся, он икнул, выругался, а потом, уткнувшись носом в стол, расплакался.

— Вот как, ты, оказывается, пить не умеешь! — говорили товарищи. — А ведь пошло такое разбавленное, оно и на вкус-то как вода.

Меж тем Ёранссон пошел домой и проспался. Он сообразил не ходить к Евгении, покуда от него разило спиртным, но поздно вечером, окунув голову в таз для мытья рук, прополоскав рот зубным эликсиром, пошел к невесте. Однако

слухи опередили его, и Евгения встретила его словами:

— Вот как, сударь, наконец-то вы проспались. И что же, сударь, отправитесь ли вы на работу об эту пору или, может быть, вообще бросите работать? Может быть, вы так и будете проводить все время в пивнушках вместе с пьянчугами? Я-то думала, что у меня муж будет непьющий, а пьяную свинью мне не нужно!

— Евгения...— попытался прервать ее Ёранссон.

— Молчать!

— Евгения...

— Заладил: «Евгения, Евгения»... Отвечай: так ты и будешь надираться или наконец перестанешь?

— Евгения,— сказал Ёранссон,— теперь я хочу знать правду. Что у тебя было с этим Эгоном, или Эфраимом, или Абелем Смиттом, который должен вернуться из Америки?

Евгения ответила на это только взглядом. И еще ехидно улыбнулась, что в какой-то степени успокоило Ёранссона; но ее собственное сердце разрывалось от боли.

Вопреки всем обещаниям, заявлениям и решениям и вопреки словам, с которыми он вслух обратился к самому себе — что, дескать, с пьянкой покончено раз и навсегда,— Ёранссон купил литровую бутылку и как следует приложился к ней в субботу утром, перед работой. Сердце перевернулось, в желудке рвануло, после чего привычно ударило в голову, и мысли смешались. Ёранссону пришлось добавить, чтобы уяснить себе, что же ему надо предпринять, а когда эта добавка возымела действие, в мозгу у него оформилась совершенно новая и дерзкая мысль: вопреки всем решениям и по причине холода в душе и холодной погоды, выпить в третий раз. Часы пробили полвосьмого, и напарник Юханссон сказал:

— Ну, Ёран, я пошел.

— Я следом,— соврал Ёранссон.

Часы пробили девять, потом десять, а в одиннадцать пьяный и голодный Ёранссон побрел в столовую, где его

попросили прийти через полчаса, обед еще не готов.
И тогда Ёранссон отправился в дальнее странствие.

Он шкандыбал с грехом пополам вдоль по улице до тех пор, пока она не превратилась в шоссе; и дальше по шоссе, пока не вышел за черту города. Он шел как средневековый бедолага подмастерье с чувствительным сердцем и пустым желудком, ученик, у которого нет ни кола, ни двора, ни надежд на будущее. Мозг ворочал дела да случаи, и мир перемешался, как перемешивается в бочке строительный раствор: все путалось и исчезало, потом возникало вновь. Дорога бежала вдаль, снег скрипел под башмаками, а Ёранссон шел. Куда бредешь ты, несчастный бедолага маляр?! Он шел обливаясь потом, хотя день был холодный. Он снял с себя шапку из искусственного каракуля, от потных волос шел пар, и Ёранссон напоминал жалкую обезумевшую паровую машину. Мозг ворочал дела да случаи. Не надо было мне напиваться. Почему человек пьет водку? Почему он выпил рюмку водки, которая словно ударом топора порушила его решение бросить пить, рюмку, которая и была ударом топора, убившим то, что ему было всего дороже? Мозг ворочал дела да случаи. Ясно же, что человек имеет право быть таким, какой он есть. Уж я ли не заслужил себе такое право, и на работе свое отрубил, и жизнь прожил! И мозг заворочал дела да случаи с быстротой механической мешалки. Вот всплыл Эмиль, появился на миг и снова исчез, утонув, как камень, во всей этой каше строительного раствора,— и всплыл опять. У Эмиля не было лица, потому что Ёранссон никогда его не видел, Эмиль был именем, событием, которое скоро произойдет; он был дурное предчувствие.

Ёранссон все шел, теперь он добрался до какой-то глухой деревни. Обледенелая дорога убегала вдаль, и Ёранссон ковылял по ней из последних сил на своих длинных, как ходули, усталых ногах. Пот катился градом, пар валил от Ёранссона, как от битюга — а куда подевалась шапка из искусственного каракуля? Волосы Ёранссона покрылись ине-

ем, время шло. Скоро строительный раствор в мозгу загустеет, и скоро мы примем новое решение. Еще несколько шагов. Здравый смысл, который был где-то там, в растворе, на самом дне, стал сначала мелькать, потом вскоре целиком показался на поверхности: Ёранссон, не ходи простоволосый, вернись, поищи шапку. Еще несколько шагов, и строительный раствор загустел настолько, что мешалка остановилась. Она остановилась, и в вязкой массе блеснули два камня: здравый смысл и решимость. И тогда Ёранссон повернул назад, нашел свою шапку и побрел домой, трезвый как стеклышко; он лег на кровать, но ворочался и метался, из носу у него текло: он схватил сильный насморк.

Ёранссон подумал: каждый имеет право принять лекарство от простуды. Встал, налил себе водки, опрокинул и снова налил. Он был сейчас в такой отличной форме, что мог бы съесть целого быка и выпить четыре бочки теплого пива. Теперь уже никакая сила не могла бы вновь привести в движение мешалку, и, поняв это, он совершенно успокоился. Он укрылся с головой одеялом, чтобы вместе с потом выгнать хворобу и из тела, и из души, и через некоторое время мысли его прояснились, и решение было таково: я встану у выхода на платформу и дождусь поезда. Я буду вежливым, но если окажется, что Евгения встречает его, между ними есть уговор, я выступлю вперед и скажу: «Знаете ли вы, Смитт или как вас там, что у этой особы есть жених? И этот жених — я». И если он знает, но не смеет на это плевать, я врежу ему как следует по морде и по носу, и вывожусь. А если он удивится и ответит: «Нет, я не знал», тогда скажу: «Я не хулиган какой-нибудь, пожалуйста, берите мою бабу, раз уж дело обстоит таким образом. Значит, моя бабушка она просто держала про запас, на всякий случай, и все женщины поступают все бабы. Я не хулиган. Но мне тошно. Я знаю, что этого не помру, но мне обидно, что меня держали про запас, потому что я-то не относился к Евгении как к женщине, которую держат про запас. Мне обидно, любезнейший Смитт, но что ж, извольте, я же не хулиган».

Евгения, вставши поутру, промаялась весь день, ничем толком не занимаясь. Под глазами у нее набрякли темные мешки, что и естественно для деловой женщины тридцати пяти лет от роду, даже если сегодня не будний день. Руки еле двигались, как у девяностолетней, а мысли витали где-то далеко. Шиш тебе с маслом! — жестко сказала она собственным мыслям, но мысли не унимались, а летели вслед — нет, навстречу — поезду. Колеса, колеса, сделайте восьмиугольными, четырехугольными, трехугольными и тресните, и развинтитесь, и упадите, так чтобы все провалилось в тартарары! Нет, нет, милые колеса, вертитесь и бегите сюда! В этот зимний, в этот предвесенний день я хочу услышать, как вы въедете под своды вокзала моей мечты. Наконец-то тебе пришел конец, малютка надежда, крохотная тайная надежда на спокойную жизнь. Мужчина, приезжающий сегодня, я — твоя. Нет, нет, у меня бельевая лавка и честное сердце. Ёранссон, я привязана к тебе, хоть и не люблю тебя, и ты станешь моим супругом. Шиш тебе с маслом, глупая мысль...

Да, это глупая мысль.

Но видеть тебя я хочу во всем твоём блеске, Эмиль-американец, мужчина с золотыми зубами, широкоплечий и узкобедрый, в клетчатом костюме с широкими брюками. Будущая Евгения Ёранссон хочет видеть тебя на этом чертовом вокзале своей мечты. Таясь, она будет стоять у выхода на платформу и увидит тебя. Нет, черт возьми, она не будет таиться! Она, Магдалина-Евгения Сундстрём, развратная женщина, весь сладкий и горький опыт которой собран в темные мешки под глазами, чтобы люди могли видеть ее унижение и, может быть, догадаться об ее тоске, она хочет увидеть тебя, сказочный принц, увидеть своими блеклыми будничными глазами. О жизнь, какое же ты бедствие! Жизнь, крохотная жизнь в моем теле, крохотная жизнь, о которой никто не знает, которая когда-нибудь станет мужчиной или женщиной, мне все равно кем, и о которой еще не знает ее собственный отец, крохотная жизнь, ты давишь меня своей тяжестью, связываешь меня, пригибаешь к земле,

я — гордость твоего отца, но позор для себя самой и своей мечты.

Слезы капали, слезы лились потоком, угрожая затопить бельевой магазин. Сударыня, я так ужасно простужена, из носа все время течет, вы уж извините. Слезы капаят, слезы льются, там пятнышко, здесь капелька, губы дрожат, грудь трепещет, а день идет.

И вот приходит вечер, а колеса крутятся и вертятся. Семафор поднимает руку к небесам и говорит «добро пожаловать!» — и краснолицый толстый господин в меховой шубе поверх железнодорожной формы стоит на перроне с сигнальным фонарем в руках и свистком во рту — это начальник станции.

Калитка, скрежеща, пропускала одного за другим радостных или угрюмых пассажиров. Евгения стояла у калитки, и Ёранссон, ждавший за огромным жарким камином, видел ее, а она его нет. Не видела она никого, не видела всего города, который смотрел на нее и разомлевшего от жары Ёранссона. Ёранссон был пьян; да и Евгения по-своему тоже была пьяна.

Калитка отрезала людей от очереди, и они выскакивали из нее, как чеки из кассового аппарата. Евгения машинально считала: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, и господа, вот еще девятнадцатый, которого она не заметила, и двадцатый, которого она тоже не заметила, а за ним старик Смитт и...

Это была жалкая фигура, но сомнений не было: это был Эмиль Смитт. Собственной персоной. Он не мог идти без посторонней помощи, отцу приходилось поддерживать его, и они походили на двух дряхлых старцев, но, пожалуй, отец выглядел моложе. Эмиль был сутул, желтолиц, худ, плохо одет. Отец его тоже сутулился, только лицо у него было серым от скорби и досады, и одет он был лучше, потому что нарядился во все выходное. А вокруг, увидела Евгения, удивленно толпились знакомые Эмиля и ее знакомые.

Перед самой калиткой на Эмиля напал приступ кашля. Он согнулся совсем уже в три погибели, как будто кто-то затянул еще крепче струны у него внутри — струны, на которых висит сердце,— и как будто легкие приклеились друг к другу и он никак не мог расцепить их. Он закрыл глаза, и Евгения увидела, как он неуверенно взмахивает в воздухе своими худыми и грязными руками, ощупывает воздух в поисках опоры. И еще она увидела его билет, серый кусочек картона, дающий право на бесплатный проезд, бесплатный билет, который консульство выдает тем, кого отправляют домой умирать, и, увидев это, она тоже на мгновение закрыла глаза. А когда снова открыла их, прямо перед ней было его лицо. Оно было прозрачно и лоснилось от лихорадочного пота, глаза стали огромными и невидящими, подбородок длинным, а губы тонкими. Таков был Эмиль. Или то, что от него осталось.

Ножницы калитки отрезали отца, потом сына, оба вышли с платформы, и Евгения сделала шаг вперед и сказала:

— Добро пожаловать домой, Эмиль.

Он взглянул на нее с недоумением, порылся в своей памяти, искал ответа на ее лице, но ничего не нашел, и отцу пришлось прийти на помощь — он подсказал полусшепотом, как ребенку:

— Это Енни Сундстрём, ты что, не узнаешь?

— Да, да, конечно,— устало произнес Эмиль.— Спасибо. Добрый вечер.

Он взял старика под руку и потянулся за дорожной сумкой — изрядно потрепанной сумкой, которая составляла все его богатство,— но старик опередил его.

— Оставь,— сказал он своим писклявым голоском,— ее и я донесу.

И Ёранссон тоже видел все это.

Что такое мечты? Что такое сердце человеческое? И страсти в этом сердце, подливающие масла в огонь, покуда не разгорится пожар, а потом пожар затухает сам собой от недостатка воздуха, и остается лишь черная копоть...

Еранссону и хотелось, и не хотелось плакать; в душе его было две души: одна вдрызг пьяная, другая трезвая как стеклышко. Эмиль, который теперь обрел лицо, фигуру и голос — какой сиплый голос! — сам того не зная, признавал права Еранссона именно тем, что все забыл. Признавал правоту жизни с румянцем на щеках и жизни с будничными мешками под глазами. И Эмиль утверждал также правоту Еранссона: не надо помнить слишком много. Память, ты, что утекаешь словно песок сквозь наши грязные пальцы, когда мы пытаемся схватить тебя, когда мы ищем камень, чтобы швырнуть его в тень, которая смущает наш покой, память, ты умнее, чем наше сердце! Ты прав, Эмиль, и ты тоже права, Евгения Сундстрём, хоть ты и была не права, — но отвернись и не говори ни слова. Сделай вид, что ты оказалась здесь случайно или что ты просто из чистого любопытства захотела посмотреть, как выглядит один из твоих старых знакомых. Когда он сошел на платформу Мечты на Вокзале Разбитых Надежд на холодном севере...

Язык мой, никогда не произноси слов: «Шиш тебе с маслом». Собака лает — ветер носит, и пусть эти слова не дойдут до ушей моего маляра. О, моя обожаемая Евгения, ты великая женщина, дай мне руку, поддержи меня, мои длинные ноги маляра с трудом держат меня, так я пьян, ну вот, а теперь мы пойдем к себе домой и поговорим о нашем будущем.

Зимняя игра

(Радиопьеса в форме новеллы)

Они заметили друг друга еще в поезде, и младший подумал: «Я определенно уже где-то видел этого субъекта. Ну и тип! Карикатура на английского лорда вроде Дизраэли. Едет в поезде, а как вырядился! В визитку. И, само собой, серый цилиндр. И еще, наверное, тросточку прихватил».

А старший подумал: «Знакомая личность. Кажется, сын покойного Процентщика Холлена — того, что принимал в заклад ценные бумаги. Сразу видно — сноб. Ради прогулки вырядился как американский ковбой. Это — для поезда, а для коктейля и танцев напялит смокинг и в обратную дорогу снова переоденется ковбоем».

Они старались не смотреть друг на друга слишком пристально, но вышли оба на платформе курортного городка и оказались в одном автобусе, который встречал будущих постояльцев отеля. К счастью, каждый мог усесться в своем углу, потому что сегодня никто, кроме них, не приехал. Да и в отеле в это время было малоллюдно. Наплыв курортников приходится обычно на пасху. Вновь прибывшие сели каждый за свой столик в разных концах большого ресторана и постарались избежать встречи у общего стола с закусками. Молодой с привычной уверенностью подошел первым и наложил себе полную тарелку; когда он ушел, старший вылез из своего угла, осторожно просеменил к столу; у него (он считал это своим преимуществом) оказалось больше времени для выбора. Молодой ел быстро; поглощая пищу, он проглядывал газету, а закончив, сложил ее, залпом выпил кофе с коньяком, швырнул на стол салфетку и вышел, слегка поклонившись непонятно кому. Старший ел медленно, тщательно

пережевывая пищу, запивая вином, а за кофе неторопливо выкурил сигару. Молодой спустился на почту и послал жене телеграмму в Ниццу: «Отдыхаю горах тчк катаюсь лыжах тчк вышлю деньги телеграфом понедельник тчк лунд купил машину едет за границу тчк улле». Старший написал своей благоверной длинное письмо, адресованное в Стокгольм:

Милая Сара!

Вот я и прибыл сюда после долгого и кое в чем довольно неприятного путешествия. По дороге я мельком видел сына Процентщика Холлена — я почти уверен, что это он. Здесь он называет себя Хольдинг. Погода великолепная, и завтра я, на старости лет, попробую встать на лыжи. Ревматизм донимает, но от этого уж никуда не денешься. Кормят в отеле прилично. К обеду был, конечно, неизменный закусочный стол, но нельзя не признать, что закуски неплохие. Говорят, здесь часто бывает дичь. К обеду я пил бургундское, за вино они, на мой взгляд, дерут невероятно дорого. Но комната показалась мне теплой и уютной. Купи мне, пожалуйста, еще пару шерстяных носков и пришли, не надо брать самые дорогие, здесь, в горах, они все равно разорвутся. Я прочитал в газете, что скончалась старая фру Юханссон. Пошли венок от нас, крон так за восемь — десять. У меня в конторе, в левом нижнем ящике, есть коробка дешевых сигар; пришли ее мне, я думаю, здесь, в горах, нет надобности курить дорогие. Напомни мальчикам и прислуге, чтоб были осторожны с огнем. И не давай слишком много денег за одежду, это себя не оправдывает. Да скажи...

В таком духе он исписал еще пять страниц, прежде чем лечь в постель.

На следующий день они не виделись до ужина, а в ужин столкнулись у стола с закусками и были вынуждены пробормотать какие-то извинения. Слегка соприкоснувшись, они отпрянули друг от друга, молодой поспешил к дальнему концу стола и положил себе двойную порцию горячих закусок, а старший остался и наполнил свою тарелку массой яств,

к которым даже не притронулся. Они сидели каждый в своем углу и избегали смотреть друг на друга. Появилось несколько новых постояльцев, это была молодежь, которая с шумом запасалась закусками у стола и шла танцевать в кафе. Младший из двоих поднялся первым и ушел, а старший долго сидел с сигарой за кофе, слушая музыку. Он кивал каким-то своим мыслям и выглядел сонным и довольным. Младший сидел в кафе, пил грог и смотрел на танцующих. Молодая женщина в черном бархатном платье улыбнулась ему, и он ответил мимолетной улыбкой. Три передних зуба у него были золотые, как у американца.

Допив, он спустился на почту и отправил телеграмму в Ниццу: «Почему не отвечаешь тчк деньги вышлю понедельник тчк катаюсь лыжах улле».

Старший сидел у себя в комнате и писал письмо.

Добрый старый друг!

Итак, я решил заняться зимним спортом. Я здесь уже два дня и нахожу, что для старого человека это отличное место. Очень спокойное, несмотря на то что много молодежи. Здесь отдыхает один субъект, по-моему, это сын Процентщика Холлена, хотя называет он себя Хольдинг. Он здесь один, но носит кольцо, значит, женат или обручен. Разумеется, он меня совсем не интересует. Пожить для разнообразия такой жизнью, пожалуй, не лишено приятности. Завтра утром попробую встать на лыжи, воображаю, какое это будет великолепное зрелище. Ты вечно ходишь по ресторанам, если встретишь там моего племянника Юсефа Лунда, передай ему привет и скажи, пусть кончает кутежи, к добру они не приведут. Пусть вспомнит отца. Дома у нас Юсеф теперь не бывает: в прошлом году я как следует отчитал его.

Пока меня нет, с делами управляют мальчики. Заскочи как-нибудь вечером к Саре, может быть, ей тоскливо одной, молодежь-то, ясное дело, дома вечерами не сидит. У этого субъекта, называющего себя Хольдингом, три золотых зуба; а ты не помнишь, Холлен, кажется, отправил

сына в Америку незадолго до того, как сел в тюрьму? Ревматизм донимает меня, впрочем, не больше, чем обычно. Пребывание здесь обходится дорого — но уж раз в жизни-то можно себе позволить! Ты не знаешь, в деловом мире Стокгольма фигурирует некий Хольдинг? Жаль, что ты не поехал со мной, тебе это вполне по средствам. В будущем году мы повторим поездку вместе и Сару прихватим, ей тоже полезно иногда выйти на люди. Если мы возьмем одну комнату, это обойдется немного дешевле. Хольдинг разгуливает в лыжном костюме, но в горах еще не был — вряд ли он умеет ходить на лыжах. Мой кузен Симон Кульманн собирается открыть магазин готового платья где-то в районе Сёдер, кажется, на Хурнсгатан. Конечно, это поблагороднее, чем возиться со старым тряпьем, зато, боюсь, не такое верное дело. Как раз когда я проходил через кафе — там танцует молодежь,— Хольдинг обменялся улыбкой с некоей молодой дамой, которую я определенно видел в Стокгольме. От таких, как он, ясно, верности не жди. Говорят, Северный Торговый банк на краю банкротства — слава богу, мои деньги не там...

Написав еще несколько страниц в таком же духе, он улегся в постель.

На другой день старший начал учиться ходить на лыжах. Его свежееотглаженный спортивный костюм выглядел поношенным и с чужого плеча: сидел он плохо и местами был аккуратно заштопан; из ботинок, явно слишком больших, смешно торчали худые, как палки, ноги, а на уши сползала огромная благоухающая нафталином меховая шапка. Но его желтое лицо сияло довольством, он оживленно болтал с инструктором, отдувался, потел и заливался смехом всякий раз, когда его нетвердые ноги разъезжались и он плюхался задом или носом в снег. Размахивая огромными варежками, он вдруг обижался, как ребенок, на лыжи, на палки, на собственные ноги, но уже в следующее мгновение улыбался всепрощающей, смущенной и снисходительной

улыбкой. Лишь однажды на его лице отобразился испуг, и произошло это не тогда, когда на пологой тренировочной горке перед отелем он нечаянно развил слишком большую скорость, а когда перед началом занятий он спросил инструктора:

— Надеюсь, уроки не слишком дороги? Сколько вы берете в час?

— Обучение входит в плату за отель,— ответил инструктор.— Вам нечего бояться, господин директор. У нас и горы, и цены невысокие. И чаевые в том числе,— уточнил он.

— Вам со мной трудно придется,— сказал старик.— Ведь, кроме меня, здесь все молодые, а молодежь теперь поголовно умеет ходить на лыжах. Мои собственные дети...

Последовало подробное описание того, как его собственные дети учились ходить на лыжах в Стокгольме.

— А господин Хольдинг тоже катается на лыжах?— спросил старик в заключение.

— Директор Хольдинг приезжает сюда каждый год,— сказал инструктор.— Ну конечно, он катается на лыжах. В прошлом году он приезжал с женой. Вернее, у них была большая компания. Однажды они забрались высоко в горы, я ходил с ними. Упорные люди, прошли четыре мили, а ведь они совсем нетренированные. Поход занял два дня. Правда, один из господ, некто директор Лунд, вывихнул ногу, это был единственный несчастный случай за всю зиму. Вон там на горе, уже по пути домой. Чистая случайность.

— Его звали Юсеф?— спросил старик.

— Не помню,— ответил инструктор,— но он был невысокий, брюнет, веселый и приятный господин. Может, и Юсеф Лунд.

— И Хольдинг тоже ходил с ними?

— Да, он был хозяином, остальные были его гостями. Но в этом году он приехал один — может, виною трудные времена. Во всяком случае, он очень сильный лыжник.

— Но ведь он совсем не катается,— сказал старик.

— Да, он говорит, что хочет отдохнуть.

— Отдохнуть — в его-то годы? А зачем же он приехал, если не кататься? Раз уж он такой сильный лыжник, как вы говорите. Впрочем, я тоже был бы сильным лыжником, но мне пришлось заниматься совсем другими вещами. Видите ли, у меня предприятие, так что на развлечения времени не остается. Уж наверное, можно стать хорошим лыжником, если целыми зимами только этим и заниматься. Я-то отношусь к лыжам не слишком всерьез, для меня они — просто моцион.

И он предался моциону. Лицо его блестело от пота, и скоро он сдался: сел в снег, сам похожий на снеговика, прищурился, словно прикидывая расстояние, поглядел на горный хребет и тяжело выдохнул:

— Хватит на сегодня. Теперь я умею сохранять равновесие. В общем-то это совсем просто, стоит только начать. Скажите, вы не знаете, Хольдинг состоятельный человек?

— Понятия не имею,— ответил инструктор.— Но судя по всему, да. Прошлогодний отдых стоил ему прорву денег — за четырех человек я знаю точно, что он платил целый месяц, а может, и еще за кого-нибудь. Фру Линделль, конечно, платила за себя сама — ей это по карману, ну а остальные... Их было, насколько я помню, человек десять.

Старик встал и попытался сохранить равновесие. Но лыжи потащили его под гору, одна лыжа наехала на другую, он упал, покатился по снегу. Когда инструктор помог ему подняться, он отдышался и произнес не без раздражения:

— Я все делал точно как вы говорили, держал ноги вместе и слегка наклонился вперед, и все-таки... Возникает сомнение, правильная ли у вас методика. Ноги разъезжаются сами собой, и вот ты уже в снегу.— Он прищурился и взглянул на ослепительно белые горные вершины, словно прикидывал расстояние.— Во всяком случае, через неделю можно будет подняться туда,— оптимистически предположил он.— Скажите, фру Линделль — это та, в бархатном платье? Я видел ее вчера в ресторане. Она не замужем за торговым домом Феликса Линделля?

Этот на полном серьезе заданный вопрос звучал так

комично, что инструктор разразился самым непочтительным смехом.

— Да или по крайней мере была. Ее муж оптовый торговец, в прошлом году он пробыл здесь всего несколько дней, а сейчас она приехала одна. Ее мужу нет и тридцати, а ей самое большее двадцать. В прошлом году они здесь поссорились, но она по-прежнему носит фамилию Линделль, так что...

— Ладно,— вдруг раздраженно перебил старик, словно это инструктор был виноват, что они слишком много говорят на посторонние темы, вместо того чтобы всецело отдаться такому важному делу, как урок катания на лыжах.— Я хочу попробовать еще раз.

Он съехал с горки и на этот раз удержался на ногах почти до самого низа. А когда упал, то сделал это прямо как опытный лыжник — перевернулся в снегу, ухитрившись не запутаться в лыжах, и потом самостоятельно поднялся на ноги.

— Вот видите! Не такой уж я тупица. То ли еще будет завтра! А как вы думаете, почему Хольдинг не катается в этом году? Может, он болен?

— Наверное, ему не хочется,— сказал инструктор, понемногу выходя из терпения.— Не надо так выбрасывать вперед палки. Вы можете на них наткнуться... надо делать вот так... и тогда вам будет легче тормозить. Тормозите обеими палками и сгибайте ноги в коленях, разумеется, чуть-чуть, вот так. Поглядите.

Инструктор скатился с горки. Когда он вернулся, старик спросил:

— Может быть, у Хольдинга денежные затруднения?

— Чего не знаю, того не знаю,— сердито ответил инструктор.

— А какого рода делами он занимается?

— По-моему, ценными бумагами — принимает ценные бумаги в заклад или что-то в этом роде, точно не скажу. Будем еще кататься?

Старик съехал с горы и на этот раз не упал. Лицо его лоснилось от пота и сияло от азарта, и он сипло кричал:

— Видали? Видали?! На той неделе отправлюсь в дальний поход, а вы поедете со мной! Нет, теперь мне хочется покататься еще! Но вы видели, я сгибал колени не так сильно, как вы показывали. Нельзя же кататься сидя, а, как по-вашему?

— Н-нет, нельзя,— произнес инструктор раздраженно.— Дело у вас пошло на лад.

— Видите! Будь я молод, как Хольдинг, уж я бы не растрачивал дни без пользы. Катался бы на лыжах — я поднялся бы на вершину горы в первый же день.

— До вершины не доберешься. Хорошо, если поднимешься туда, где кончается лес. Да зимой на горе нечего и делать. Она кажется всего лишь огромным сугробом — и это опасный сугроб. А кроме того, господин директор, там всегда ужасный ветер.

Старик изобразил на лице удивление:

— Но для чего же тогда, черт возьми, люди учатся кататься на лыжах? Разве не для того, чтобы ставить рекорды? Летом-то небось никому не придет в голову взбираться на вершину — оттуда ничего путного не увидишь. А как высоко можно подняться?

Он указал на гору.

Инструктор ответил со снисходительным смешком:

— Примерно до середины. Но, господин директор, советую вам приехать летом. Летом каждую неделю совершают восхождения небольшие экскурсионные группы.

— Ждать до лета,— сердито просипел старик,— для чего же тогда, черт возьми, приезжать сейчас и учиться на лыжах? Разве не для того, чтобы... Какая глупость!

Он снял шапку и покачал всклокоченной головой.

— И всю дорогу идут пешком?

Теперь инструктор рассмеялся в открытую:

— Да, именно так. В этом, господин директор, и состоит удовольствие.

— Удовольствие? Идти пешком? До самой вершины? Какое же в этом удовольствие?

— Дело не в вершине,— назидательно произнес его со-

беседник.— Дело, господин директор, в самой дороге. Она изумительно красива. А сама по себе вершина — ничто.

— Да, разумеется,— сказал старик.— Я понимаю, что вы имеете в виду: что пешеходная прогулка полезна для здоровья. Свежий воздух и все такое. Да, в этом есть смысл. А очень дорого жить здесь летом? Вообще-то должно быть дешевле, чем сейчас,— топить ведь не надо.

И не дожидаясь ответа:

— А Хольдинг приезжает летом?

— Иногда.

Потом старик снова съехал с горки.

Он удержался на ногах и даже помогал себе палками во время спуска, а затем осторожной «елочкой» вернулся назад, к инструктору.

— Видали? Видали?

Инструктор кивнул: да, он видел.

Все это время молодой человек смотрел на них из окна. Он с интересом наблюдал за всеми движениями старика, словно изучал диковинное животное. Как жалко выглядит этот могущественный Кульманн, думал он. Теперь понятно почему...

Когда отворилась дверь, он резко повернулся.

— На этот раз я пришла без приглашения,— сказала женщина.

— Чем могу быть полезен?— не сразу ответил он.

— Ты даже не поздоровался,— произнесла она и без церемоний уселась.

— Да, не поздоровался.

— Но ты по крайней мере улыбнулся мне вчера вечером.

— Вообще-то я улыбнулся из-за платья. Прости меня, оно отличное, высший класс, и не дает никакого повода для насмешки — но, кажется, это твое прошлогоднее.

— Нет, но оно такое же. Только чуть осовременено. И немного дороже того.

— Ну да, значит, все-таки оно самое.

— Можно сказать и так. Оно, кажется, тебе нравилось.

Я становлюсь в нем такой тоненькой и нежной. Так, кажется, ты о нем сказал. Да мало ли что ты тогда болтал.

— Зачем ты здесь?— спросил он и повернулся к ней спиной. Старик стоял в самом низу, у подножия горы, и восторженно размахивал руками перед носом у угрюмого инструктора.

— Так, почему-то вдруг взбрело в голову. На днях. А ты здесь зачем?

— Так, почему-то взбрело в голову,— насмешливо повторил он.— Недавно.

— Ты без жены?

— Она в Ницце. А ты без мужа?

— Он не захотел поехать,— медленно произнесла она.— Мне очень досадно. Но у него так много дел, он ведь из тех, кто не зря коптит небо.

— Ну да, он распоряжается твоими деньгами.

— Вот именно. И распоряжается весьма ловко. Кстати, ты в этом году не катаешься на лыжах?

— И ты тоже?

— Завтра поеду с инструктором. Очень приятный и услужливый парень. Одна я не хочу. Вдруг вывихну ногу — такое ведь случается.

Старик снова съезжал. На этот раз он упал как раз посередине горки.

Молодой человек медленно повернулся к женщине.

— И я собираюсь встать на лыжи. Но только через несколько дней. Подожду, пока научится вот тот старикан. Он тоже очень приятный и услужливый.

— Ты знаком со стариком Кульманном?— спросила женщина и посмотрела на него взглядом столь чистым и детским, что в его искренность было трудно поверить.

— Нет, но я собираюсь с ним познакомиться.

— И правильно сделаешь, он очень богат. Это дядя Юсефа Лунда. Кстати о Лунде: у него новая машина. Завел новую машину в разгар зимы. И мне она показалась очень знакомой.

— Знакомой? Вот как?..

— Он даже не снял табличку, помнишь, ту маленькую, с фамилией.— Теперь женщина уже не смотрела чистым детским взглядом.— И он хвастается, что вообще-то она стоит бешеные деньги,— конечно, машина, а не табличка,— но ему досталась невероятно дешево.

— Хвастается? Вот как?.. А он не говорит, что получил ее задаром?

Молчание. Мужчина отвернулся к окну. На этот раз старик съехал не упав.

— Улле,— сказала женщина,— ты был ему должен? И в счет долга отдал ему машину?

— Да.

— Значит, ты на мели?

— Да, пожалуй. По крайней мере временно.

— Тебя разыскивает полиция?

— Пока нет. Я, во всяком случае, об этом еще не знаю.— Он повернулся к ней.— Но что бы там ни было, это платье тебе фантастически идет, Кунигунда.

— Почему ты меня так называешь?

— Прости, я хотел сказать Клеопатра.

— Что за глупости!

— Или нет, Венера.

— И не стыдно тебе?

— Разумеется, я хотел сказать Минерва.

— А кто же тот старик за окном?

— Плутон.

— А ты сам, Улле?

— Плутон поменьше, бывший крошка Плутончик, но в меня уже больше не верят. Раньше, видишь ли...

— Жена сбежала от тебя?

— Нет, она поехала отдыхать за границу. Звучит гораздо лучше.

— А твои друзья? У тебя ведь была уйма друзей.

— Они тоже меня покинули. Сохранив обо мне наилучшие воспоминания. Они еще и через десять лет будут рассказывать о моих «вечеринках для узкого круга».

— Ты хочешь развестись?

— Я — нет.— Он смотрел в окно.— А она хочет. Для нее ничто не изменится. Те же празднества, за которые мне дозволено платить, хотя присутствовать больше не дозволяется. Та же жизнь — с другими. Та же машина — Юсеф Лунд, видишь ли, едет в Ниццу.

— Что же у тебя еще осталось?

— Вот это.— Он с улыбкой снова повернулся к ней, показал на свои три золотых зуба.— Вот они. Кстати, ими всегда было трудно кусать.

Старик катался один, съезжал с горки и снова поднимался. Инструктор ушел.

— Улле.— Женщина шагнула к нему.— Лучше бы ты женился на мне.

— Теперь мы были бы уже в разводе.

— Но тогда у тебя были бы деньги. Я никого не бросаю в беде.

— Да, есть у тебя такая странность.

Только теперь она наконец спросила:

— Сколько тебе нужно?

Старик на горке снова упал. Поднялся, стряхнул снег с костюма, настороженно огляделся. Потом нагнулся и растегнул крепления. Когда он поднимался на горку и входил в отель, похоже было, что его прихватил приступ подагры; его лицо, лоснящееся от пота, исказила гримаса боли.

— Дело твое, Улле,— сказала женщина обиженно.— Я хотела тебе помочь. Тебе ведь нужны деньги.

— Мне — нет. Они нужны ей. И потому-то я, сама понимаешь, не хочу брать займы у тебя. В сущности, во всем виноват Лунд. Он в родстве с Кульманном, оба они ростовщики. Мы ведь с ним дружили. Когда он, помнишь, вывихнул ногу, Нора, скажем так, пожалела его. Потом, когда я узнал, я высказал ему все прямо в лицо. Впрочем, была еще и драка. А потом он начал допекать меня, требуя денег по векселям,— я никак не мог выпутаться. Я занимал еще и еще — под конец у самого Лунда, не знаю, может, и у старика Кульманна или у другого Кульманна, во всяком случае, кончилось полным крахом.— Он развел руками.— Напоследок

он забрал машину. На ней он поедет в...— ну да ладно. Я не удивлюсь, если его самого держит в руках этот старикашка, что катается на лыжах там, внизу. Ведь он-то и есть самый большой паук. Мой отец тоже ссужал деньгами под залог. Холлен, Процентщик Холлен. Он умер в тюрьме. А Кульманн и в ус не дует. Его дело так и называется Закладная контора Кульманна. Он принимает старое тряпье, ношеную обувь, костюмы, серебро и золото, постельное белье — все что угодно. А кроме того, дает деньги в долг. Наличными.— Глаза Улле сверкнули яростью.— Так пусть хоть, по крайней мере, оплатит мой развод.

— Ты не современный человек,— сказала женщина.— Разве можно злиться на людей этого сорта? Какое ребячество! А ведь стоит мне дать телеграмму, и ты завтра же получишь деньги. И тебе даже необязательно жениться на мне. Я, видишь ли, тоже собираюсь разводиться. Мой муж прелесть. Но я больше не могу его выносить. Однако тебе необязательно жениться на мне. Вернешь мне с шестью процентами — вот мое единственное условие.

— Закроем эту тему.

— Потанцуй хоть со мной сегодня вечером, мне так одиноко среди всех этих незнакомых людей.

Когда Улле спустился обедать, женщина сидела за его столиком. Он холодно поклонился и, пройдя мимо, подошел к столику старика.

— Мой столик занят, надеюсь, вы не будете возражать...

— Сделайте одолжение,— ответил старик с преувеличенной любезностью.

— Моя фамилия Хольдинг.

— Кульманн, к вашим услугам.

Они вместе подошли к столу с закусками.

— Ужасно надоедает ходить за этими закусками,— сказал старик.— Но вообще-то, надо признать, что место неплохое. Вы здесь завсегда?

— Приезжаю каждый год,— сказал молодой человек.— А вы, господин Кульманн, здесь впервые?

— Я — да, но мой племянник часто сюда ездит. Лунд, Юсеф Лунд.

— Ах вот как,— сказал молодой и улыбнулся своей золотозубой улыбкой.— Мы с ним хорошие приятели. Знакомы уже несколько лет.

Весь обед они обсуждали Лунда. Оба были очень любезны. Молодой заговорил о лыжных прогулках и упомянул, что Лунд в прошлом году вывихнул ногу.

— Завтра я собираюсь покататься,— сказал он.— Может быть, поедем вместе?

Старший просиял.

— Прежде я и не знал, что такое лыжи. По правде говоря, я только сегодня впервые занялся ими всерьез. Так что лыжник я никудышный. Но если вы хотите...

Младший встал из-за стола первым. Он пошел на почту и дал телеграмму: «Повремени разводом тчк деньги понедельник тчк улле».

Старший написал письмо; за день он сильно устал, и письмо было совсем короткое:

Симон, разузнай, как обстоят дела у Улофа Хольдинга (сына Процентчика Холлена!); сообщи немедленно.

Назавтра они вдвоем отправились на лыжную прогулку.

Спешить им было некуда. Младший шел впереди, а старший — с трудом, на нетвердых ногах — продвигался по его лыжне. Он часто падал в снег, и Хольдинг помогал ему встать. Оба смеялись. Они прошли несколько километров: сначала спустились в долину, потом поднялись по лесистому склону с другой ее стороны. Да, спешить им было некуда. Младший шел так осторожно, как будто вывел на прогулку больного, а старший потел и пыхтел, словно и вправду был полной развалиной.

— Вот здесь сорвался тогда Юсеф Лунд,— сказал Хольдинг.— Он вдруг исчез, и со стороны это выглядело очень смешно. Раз — и нет человека. Он всего лишь вывихнул ногу и слегка поцарапал лицо. Ему повезло — отделался легким испугом. Взгляните-ка вниз — дело могло кончиться плохо.

Они шли по краю обрыва.

Старший отпрянул и поднялся выше Хольдинга.

— Нет, это не для меня,— проговорил он.— Мне вообще лучше бы кататься по ровному месту, как говорится, иметь под ногами твердую почву.

Он сел на пень, с которого предварительно соскреб снег. Молодой человек остановился, опираясь на палки, и стал смотреть на его потное лицо.

— Не вернуться ли нам?— сказал старик.

— А что, если вы свалитесь вниз?— сказал молодой.— Допустим, вы сейчас встанете, лыжи заскользят, раз — и вы вниз. Вот такой несчастный случай.

Старик взглянул на него, прищурив глаза:

— Еще неизвестно, убился бы ли я насмерть.

— А вдруг бы кто-нибудь этого захотел... Вдруг я, например, столкнул бы вас вниз... я бы, конечно, спустился и посмотрел, вправду ли вы мертвы, прежде чем идти за помощью. Сами понимаете — несчастный случай! Вот вы сидите здесь на пне. Всякий увидит — здесь вы сидели на пне. А вот следы ваших лыж, ведущие прямо в бездну. Если бы я сейчас захотел столкнуть вас вниз — я говорю, *если* я бы захотел столкнуть вас, господин Кульманн... если бы это пришло мне в голову...

Старший встал.

— Побеседуем о чем-нибудь другом,— сказал он, боязливо озираясь.

— Но я говорю: а что, если бы я захотел столкнуть вас,— повторил младший и улыбнулся своей золотозубой улыбкой.

— Но вы ведь этого вовсе не хотите. Да и зачем вам? Я-то ведь не сделал вам ничего дурного.

— Но вы, например, могли бы отказать мне в просьбе, а я бы разозлился. Что, если бы я попросил вас об услуге? К примеру, попросил бы денег взаймы. Я мог бы сказать так: я не настаиваю, чтобы вы вернули деньги, которые обманом вытянули у моего отца. Но я требую, чтобы вы дали мне в долг пятьдесят тысяч. Я знаю, у вас они есть, а передо мной закрыты все банки. Меня в любую минуту могут посадить.

Дадите мне в долг, из шести процентов? Вы ведь даете ссуды под залог? То же самое делаю я, но, как человек другого поколения, не таюсь. Вы останетесь в живых — так, к примеру, я мог бы сказать — только на том условии, что внесете залог в пятьдесят тысяч. Или иначе: ваша жизнь — ценность, которая у меня в руках. Я пришел к вам заложить ее. Вы дадите за нее пятьдесят тысяч? Не правда ли, ваша жизнь стоит пятидесяти тысяч?

Старший в страхе уставился на него.

— Но милейший господин... господин Хольдинг. Милейший директор Хольдинг. Вы сами не знаете, что говорите. У меня нет денег на то, чтобы давать займы, а что касается вашего отца... Холлена... моего старого, доброго друга Холлена... то что ж, дела есть дела, речь шла об ипотеках, а я... я ведь... я бедный человек...

Его стало трясти, и он попытался повернуть назад, но лыжи наехали одна на другую, и он сел в снег. Младший помог ему встать и больше уже не отпускал его руки.

— Но ведь я ничего этого не говорил, милейший господин Кульманн. Я только предположил, что мог бы, к примеру, сказать это. Мог бы, но не сказал. С таким же успехом я мог бы сказать что-нибудь другое. Потребовать семьдесят пять тысяч. Или сто. Но я требую всего пятьдесят под шесть процентов. То есть я говорю, что мог бы потребовать пятьдесят тысяч.

Старший нервно рассмеялся:

— Вы чужак, господин Хольдинг. Пора нам возвращаться. Но младший не отпускал его руки.

— Я держу вас, чтобы вы не упали.— Он показал на обрыв.— Между прочим, я мог бы сказать и так: я несчастный человек. Виноваты в этом вы и ваша родня. Еще немного — и мне крышка. Совесть меня мучить не будет: таких, как вы, надо истреблять. Мы оба с вами ссужаем деньги под залог — хотя, впрочем, мне-то теперь крышка. Я был слишком честен, к примеру, по отношению к Юсефу Лунду. А вы обыкновенный вор — так я мог бы сказать,— вот в чем разница между нами. Вы недостойны того, чтобы жить. Вы ста-

ры, скупы и безобразны. Вы вампир, ростовщик. Да-да, именно ростовщик. А я молод, я мог бы быть счастлив, жить полноценной жизнью еще долгие годы. А теперь меня в любую минуту может схватить полиция. И еще, видите ли, мне придется развестись. Этого хочет моя жена. Но не я. Однако я могу еще быть счастлив, если только выберусь... прежде всего из когтей Лунда. Теперь вам понятно, что я должен вас ненавидеть?

Старик попытался вырваться.

— Пустите меня!— закричал он.

— Ну уж нет! Ведь вы — моя последняя надежда. Говорите: да или нет?

— Я должен обдумать. А здесь у меня нет возможности...

— Да или нет?

Старик вцепился в лыжную палку.

Он попробовал высвободиться, однако лицо молодого придвинулось почти вплотную: с ненавистью и отчаянием глядел молодой ему прямо в глаза, а сам улыбался своей золотозубой улыбкой.

И тогда старик ударил его лыжной палкой.

Молодой упал навзничь, взвыл, схватившись рукой за рот. Но старик покатил вниз не оглянувшись. Съехал удачно, в одно мгновение, но на подъеме к отелю несколько раз падал.

Он видел, что молодой все еще сидит на склоне, прикрывая рот рукой.

Две телеграммы ждали адресатов. Одна — Хольдинга, другая — Кульманна.

Старик развернул свою.

«Положение Хольдинга шаткое зпт но не безнадежное тчк часть векселей у Юсефа Лунда тчк Хольдингу нужны пятьдесят тысяч тчк»

Старик поднялся к себе в комнату и лег отдыхать.

А вскоре в отель вернулся и молодой. Он прикрывал рот носовым платком.

— Я полетел и стукнулся о пень,— объяснил он швейцару.— Выбил себе три зуба. Мне не было телеграммы?

Ему вручили телеграмму:

«Решение разводе неизменно тчк еду рим тчк достала день-ги другом месте тчк лилли».

Хольдинг спустился в ресторан поздно. У него немного распухла верхняя губа, но держался он так же непринужденно, как обычно. Старик уже сидел за кофе и сигарой, он наблюдал за Хольдингом, прищурив глаза.

Хольдинг жевал с видимым усилием. Старик встал и подошел к его столику.

— Простите, господин Хольдинг,— сказал он тихо,— вы не возражаете, если я на минуточку присяду?

— Пожалуйста,— ответил тот с трудом, шепелявя.

— Дело в том, что я обдумал ваше предложение. Я полагаю, что на определенных условиях сумею достать нужную вам сумму. Разумеется, под обеспечение. И из двенадцати процентов. Согласны?

Хольдинг выслушал его внимательно и не торопился с ответом. Он жевал с крайней осторожностью и глотал со страдальческой гримасой. Затем отложил вилку и стал что-то искать в жилетном кармане.

— Благодарю вас,— сказал он.— Я уже решил заложить себя в другом месте. Но какую-то прибыль вы все же должны получить. Вот, пожалуйста.

Он положил на стол золотой зуб.

— Берите, берите, я дарю его вам. Остальные два остались в снегу, мне лень было искать. Вы единственный, кто знает, где они лежат. Их я тоже вам дарю, там, наверху, у вас что-то вроде золотого прииска.

Он встал и вышел в кафе.

Женщины в бархатном платье там не было.

— Портье, в каком номере живет фру Линдельль?

— В двенадцатом.

Он поднялся по лестнице и остановился перед дверью фру Линдельль. Но постучал не сразу. Достал карманное зеркальце и тщательно оглядел свое лицо. Улыбка его была безобразна. Он придал лицу, грустное, покаянное выражение.

Потом осторожно постучал.

На новой дороге

Они встретились на перекрестке. И сразу поняли, что они — одного поля ягоды. Молодой — воротник поднят, руки глубоко в карманах брюк — читал вслух названия на дорожном указателе, и в его насмешливом голосе звучал страх; в миле* на восток был один промышленный поселок, в двух милях на запад — другой. А прямо перед ним, на юге, — средней величины город.

Старик за его спиной, выставив вперед подбородок с реденькой седоватой бородкой, вкрадчиво заметил:

— Я смотрю, географию изучаете, а?

— Да, учимся помаленьку, — ответил молодой и медленно обернулся. Лицо у него было очень усталое и бледное. Но в глазах притаилась смешинка; лет ему было, вероятно, девятнадцать-двадцать.

Старик подошел поближе, теперь они стояли рядом.

— Я смотрю, прогуляться вышли, а? — сказал пожилой. — Меня зовут Сакариас.

Он протянул руку, и молодой пожал ее с видом некоторого превосходства, а в поклоне его, пожалуй, была даже издевка.

— Меня зовут Свен.

— Вот так раз, — сказал Сакариас, — какое совпадение! Сакариас и Свен, и то и другое на букву «с». Будет что вспомнить о сегодняшнем дне.

— Я смотрю, вы остроумный человек, — сказал молодой. Теперь в голосе его звучала жалость. — Откуда столько остроумия? Не иначе как у вас это дар. А вы по какой дороге пойдете?

Сакариас отступил на шаг и, задрав подбородок, уставился

* Шведская миля равняется 10 км.

на указатель. Худыми, нервными пальцами потеревил ренденькую бороденку, прижал палец к нижней губе, как задумавшийся ребенок, и во всем его облике появилась преувеличенная серьезность клоуна. Потом он широко развел руки, как продавец, предлагающий ткань, и низко поклонился.

— Сударь, я задам вам тот же вопрос. Куда, господи прости, нам направить свои стопы? По какой дороге пойти? Не кажется ли вам, что минута эта исполнена раздумий? Глубочайших раздумий. Касающихся не только того, куда мы пойдем, но и возможностей самой дороги.

Насмешка в его голосе была столь явной, что молодой скорчил гримасу и пожал плечами.

— Не понимаю, о чем вы,— сказал он.— Вы-то куда направляетесь — направо, или налево, или вперед, или назад? Или, может, взлететь собираетесь?— Он показал вверх.— В таком случае нам с вами не по пути.

Но пожилой все с тою же комической серьезностью покачал головой. Полминуты он играл роль Иова: вращая маленькими живыми глазками, он посыпал главу невидимым пеплом и даже вырвал несколько волосков из своей клочковатой бороденки. Молодой смотрел на него в угрюмом изумлении.

— Молодой человек,— сказал Сакариас,— если мой путь в конечном итоге куда-то и ведет, то не в воздух, а под землю.

— Похоже на то,— сказал Свен.

— Но пока не пробил час, мне принадлежит весь мир,— сказал Сакариас.— Весь мир! Он открыт передо мной. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем фактом, что перед вами открыт весь мир? Перед вами дорога. Она приведет вас куда вашей душе угодно. И вместо того чтобы радоваться этому, вы стоите с таким видом, будто вас только что выпороли!

— Ах вот как, вы считаете, что весь мир открыт перед вами?— сказал Свен.— Видно, вы никогда не искали работу.

Теперь старик снова сделал один из своих величественных жестов — у него в запасе, казалось, их пропасть. Сначала он широко развел руки, стал загребать ими, точно пловец, потом вскинул голову, повел ею из стороны в сторону, как бы бросая вызов невидимым врагам. А потом разразился хохотом.

Молодой неприязненно глядел на пожилого, в особенности, казалось, его раздражала клочковатая бороденка. И снова они стояли и мерили друг друга взглядами. В глазах молодого исчезла смешинка, остались злость и омерзение; у пожилого же — лишь мягкое сожаление, как будто он разочаровался в юноше.

— Молодой человек,— начал старик. Он перевел дух и продолжал:— Молодой человек! К моему величайшему удивлению, вы говорите о вещах, которые совсем не должны интересовать молодежь. Постыдились бы! Перед вами — да знаете ли вы, кто перед вами? Мое имя Сакариас Габриельссон. Слыхали вы когда-нибудь о Сакариасе Габриельссоне? Судя по всему, нет. Будь у вас хоть малейший жизненный опыт, вы знали бы меня. Я исходил все большие дороги в северных странах. А задолго до вашего рождения я бродил по дорогам Германии, и Голландии, и Бельгии, и Франции, и Испании! В наших кругах мое имя произносят с почтением. Я не какой-нибудь прощелыга. По моей одежде вы можете видеть, что я не прощелыга. Воротничок у меня чистейший, а в узелке есть еще один на смену. Разумеется, обувь моя в данный момент не в идеальном состоянии, но виной тому всего лишь моя небрежность. Пальто на мне целое и теплое — я прошу подаяния только у людей из высшего сословия, и это пальто прежде принадлежало камергеру, богатому землевладельцу. Я не пьяница. Курю я только тогда, когда мне перепадает приличная сигара. А вы позволяете себе спрашивать меня о том...

— Хватит загибать,— сказал молодой,— я не понимаю, куда вы клоните. Ведь вы такой же бродяга, как я, так чего тут рассусоливать?

Бледное лицо Свена немного порозовело; он сглатывал,

стараясь проглотить свою злость, и говорил медленно, подыскивая слова. Что проку отчитывать этого старика. Себе дороже. Он резко повернулся кругом и пошел.

Но Сакариас направился за ним.

— Неужели вы не понимаете, что оскорбили меня?

— Вздор и чепуха,— не оборачиваясь, бросил Свен.

— Разрешите сказать вам еще два слова.

Свен остановился.

— Ну так выкладывайте, да поскорее, у меня нет охоты стоять здесь полдня.

— А мы можем идти, мне ведь все равно куда,— оживился Сакариас, тон у него был вполне дружелюбный.— Я должен поговорить с вами, сообщить вам кое-что о жизни, в которую вы вступаете. Видите ли, я считаю вас совсем зеленым юнцом. Поэтому я, в сущности, не могу на вас сердиться. Хотя я, ну да... Меня не интересует, куда вы направляетесь. Мы просто идем вперед, так я поступал всегда. Скоро мы придем в небольшой поселок, который мне знаком. Если я не ошибаюсь, там мы найдем пищу и приют.

Свен еще глубже засунул руки в карманы и пожал плечами. Он немного озяб. И слишком устал, чтобы прибавить шагу. Слишком устал, чтобы злиться.

— Знаете,— сказал Сакариас,— молодежь нынче пошла не та. Это уж я точно вам говорю. Искать работу! Рядом с вами идет человек, который никогда не искал работы. В молодости, когда я пустился в странствия, у меня была мечта: никогда не искать работы. И я действительно ее не искал.

— Значит, вы были не в своем уме,— пробормотал Свен.— Ведь тогда-то работа была!

— Что? Не в своем уме? Я скажу вам одну вещь, а вы послушайте человека, повидавшего свет. Я горжусь тем, что никогда не искал работы. И, как видите, остался жив; и всегда был свободен.

— Значит, вы все это время жили за счет других,— сказал Свен.

Сакариас хотел было остановиться и разыграть одну из своих пантомим, но что толку, ведь Свен продолжал идти, не обращая на него внимания. Воцарилось молчание. Холодный ветер гулял над равниной. Мимо них с грохотом проехал грузовик, и Свен поднял было руку, но вспомнил, что это ни к чему: какая разница, когда они попадут туда, куда направляются. Неизвестно куда. Впрочем, шофер все равно даже не посмотрел на них. В ушах у Свена стучало: работа, работа, работа.

— Видите ли,— сказал Сакариас,— человек должен дорожить своей свободой. Человек должен дорожить своей индивидуальностью. Разумеется, тот, у кого она есть. Ведь есть она не у всех. В этой стране я один из тех, у кого есть индивидуальность.

— Оно и видно,— вяло сказал Свен.

Какой смысл ругаться со стариком?

Эту вялость старик принял за благожелательность и совсем разоткровенничался. Он взял молодого человека за руку, как бы желая удержать его в своем мире; голос у него стал тихий, вкрадчивый, взывающий к сочувствию.

— Видите ли,— сказал он,— меня привела на большую дорогу судьба.

Свен молчал; в ушах у него еще стучало то, другое слово: работа, работа, работа.

— Меня привела на большую дорогу судьба,— повторил Сакариас.— Когда-то я был молод, как вы, и жила на свете девушка... Девушка, понимаете ли, которая мне не досталась...

— Вон что,— сказал Свен,— значит, сейчас пойдет так называемая правдивая история?

— Да, история правдивая, можете не сомневаться. Она была богата, я беден.

— Такие истории я читал,— сказал Свен.— Она вам не досталась, и сначала вы хотели повеситься, а потом не повесились, а потом...— Он пожал плечами.

Но старик продолжал:

— И тогда я отправился бродить по дорогам. Мне было

всего восемнадцать лет. И я поклялся, что стану вольной птицей, странником и когда-нибудь подойду к ее дому...

— И сядете на ступеньку крыльца, и, разумеется, это будет в сочельник, и вы отдадите богу душу, а бабенка всплакнет и устроит вам такие красивые похороны,— сказал Свен с гримасой отвращения.

Старик опустил голову; сейчас поза его была исполнена истинного трагизма.

— Именно так,— сказал он.— Откуда вы знаете, что я мечтал именно об этом? Я вижу, вы хороший человек, вы добрый мальчик. И я не сомневаюсь, что вы тоже что-то пережили.

Свен остановился и высвободил свою руку. Он снова разозлился.

— Кончайте загибать! Вы думаете, я бродяжничаю для собственного удовольствия? Или из-за девчонки? Неужели вы думаете, что человек, если его не приперло, пойдет бродяжничать из-за девчонки? Я не из таких. Я ведь сказал — я ищу работу. Ясно? Работу, все равно какую. Лишь бы работа.

— Ну ладно, ладно!

Сакариас собирался было вздеть руки к небу, указывая, какое оно высокое и чистое; или обратить внимание спутника на вечный ход светил, подчеркнув тем самым незначительность нашей земной жизни; но, видно, понял, что все это ни к чему, и опустил руки.

— Сколько вам лет, мой юный друг?

— Девятнадцать.

— И долго вы уже странствуете?

— Два года,— сказал Свен.

И он снова зашагал, и Сакариас двинулся за ним: если тебе повезло и у тебя есть попутчик, надо за него держаться.

— А что вы делали до этого?— полюбопытствовал наконец Сакариас.

— Ничего.

— Ничего?

— У меня никогда не было настоящей работы,— сказал Свен.— Я был рассыльным, а потом уволили.

И тогда знаменитый бродяга Сакариас Габриельссон умолк и погрузился в размышления. В молчании оба продолжали путь. Пожилой в своем роскошном пальто и цилиндре выглядел бедным, но важным господином, он шел гордо выпрямившись и, пожалуй, даже упругим шагом; молодой же шел сгорбившись, нахлобучив кепку, шел неуверенной походкой, глубоко засунув руки в карманы — так глубоко, что, казалось, он никогда больше не сможет их оттуда вытащить.

Магнус и Улле

События накатывали волнами, и от волны до волны все вновь замирало. Непривычная жизнь захлестнула маленькие железнодорожные станции Норботтена, где прежде заправлялись углем и водой, а не то просто останавливались, пережидая встречный поезд, товарные составы, тяжело нагруженные или, напротив, совсем пустые. Длинные товарные составы стали еще длиннее, и еще более странно, удивительно и зловеще засверкали окна в пассажирских вагонах. Хлынули в изобилии деньги, хлынула война. На станциях покрупнее, где останавливались все поезда, откуда рельсы разбегались в разные стороны, люди ходили на вокзалы смотреть войну-убийцу, волнами врывающуюся в страну. Первой прибойной волной пригнало беженцев. Смятенными, пугливыми толпами прибывали они и на ломаном шведском пронзительными голосами справлялись, на какой поезд можно пересест, да и та ли это станция, тот ли вокзал, и толпа текла по перрону потоком без конца и без края — так, во всяком случае, казалось со стороны. Они приносили с собой страх и запах трагедии. И суетились, спотыкаясь о свои громоздкие чемоданы, задевая узлы с платьем, с наскоро собранными памятными вещицами; здесь выронят книгу, там потеряют сумку — чужестранные предметы усеивали перроны наших маленьких станций. Тут и там мелькали бледные женские лица с воспаленными от недосыпания глазами, лукавые или испуганные рожицы детей, шли мужчины, небритые, с решительными лицами, и трясущиеся старики, будто нарочно для этого случая нацепившие на себя трясущиеся седые бороды, и были там старухи в

толстых зипунах, в пестрых бахромчатых платках, похожие на выходцев из какого-нибудь новоявленного разноязыкого цыганского племени.

Из каких только стран не изгоняли их, а порой они и сами очертя голову бежали оттуда; очертя голову мчались они в Швецию на поездах, подобно им самим в смятении метавшихся туда-сюда; очертя голову уносились из Швеции и со временем добирались до места, хоть иным так и не суждено было добраться до цели. Одни, должно быть, уходили на войну, другие проповедовали мир, за что война захлестывала и их; в большинстве своем, надо полагать, они оседали где-то и там размышляли о прошлом или же пытались построить для себя новую жизнь в своем старом отечестве. Так или иначе, всех их прибивало сюда, они пронеслись мимо и исчезали. А все же они приносили с собой крупицу той жизни, которой вот уже четыре года жила *другая* Европа. Это была первая волна.

За ней накатилa вторая волна — калеки.

От калек было куда меньше шума и суеты, чем от беженцев, но сам вид их еще страшней говорил о том, что творится в мире. Эшелоны четко следовали один за другим, строгий военный порядок ощущался во всем. Калеки стояли в тамбурах вагонов, опираясь на костыли, и во все глаза — а кто единственным глазом — разглядывали мирную страну, в какую занесла их судьба. Иные лежали в ящиках — своего рода преддверие гробов, — они были еще не совсем мертвые, искорка жизни еще тлела в них. Некоторые кричали «ура», ведь перед ними расстилалась *мирная* страна, и в подобных случаях, думали они, надо кричать «ура». А другие пели песни своей отчизны и толковали о мщении и всем таком прочем — в уйму слов отливали они свою боль и страсть. Иные из них многому научились. Кто стоял, кто сидел, кто лежал — но все молчали, ехидно наблюдая за суетой вокруг, и остро чувствовали свою беду: они отныне калеки и им *никогда* не вернуть своих рук и ног, *никогда* уже не быть настоящими людьми. Мы сталкивались с ними взглядами, а не то с испугом и любопытством

глядели в их мертвые глаза, глядели на костыли их и обрубки ног, на культы — половинки рук — и не знали, что и сказать: такие юные мы были, чисто дети, в ту пору. Волна страдания прокатилась по нашей стране. Мы читали о войне в газетах, но страшному мало верилось дотоле. Вот как, значит, все это выглядит. Вот как выглядит война.

Третья волна принесла с собой спекулянтов.

Вот это уж совсем другая порода людей.

Город кишел ими, они сновали вокруг нас с важным видом, казалось, они повсюду на все накладывают свою лапу.

Это была волна мародеров.

Потом, конечно, настали другие времена. Кончилась война — по крайней мере так считалось, — и настал мир, так называемый мир. Жизнь снова как-то вошла в колею, хотя, конечно, она не могла сравниться с прежней, — так по крайней мере говорили люди постарше.

Помню, был когда-то некий тип по имени Магнус, он тоже в былые дни подвизался среди спекулянтов. Покинув родные места, я много лет не возвращался домой. И я совсем позабыл о нем, забыл, что он жил когда-то, ступал по этой земле и ворочал делами. И вдруг в один прекрасный день я вспомнил о нем, и воспоминание это рассмешило меня — забавный человек этот Магнус.

Не то чтобы он был злодей, нет, судя по всему, настоящие злодеи вообще встречаются редко. Просто запахло деньгами. И он пошел на этот запах, и подставил ладони под золотой дождь, и нахватал сколько мог. Только и всего. Однако целый год, а не то и несколько лет он слыл большим, важным тузом.

Однажды он купил килограмм масла за десять крон и перепродал его за пятнадцать. С этого все и пошло. В другой раз он купил два кило, а еще в следующий раз — уже пять килограммов масла. Так оно и покатилося дальше само собой. Он уже и не товарами торговал, а только накладными. Может, даже всех этих товаров — металлов, кофе, круп, меда и всего прочего — и в помине не было, но даже если так, его-то дело сторона. Разве что в самом конце

цепочки вдруг открывалось, что ничего нет, но к тому времени он уже успевал нажить немало денег.

Помнится, он разбогател. Люди шепотом рассказывали друг другу, будто он одним махом огреб пятьдесят тысяч. Вышел-то он из низов, и, как знать, может, у него было убогое детство. Зато теперь он сидел в конторе в самом сердце столицы и слыл большим тузом.

И пошел он к подрядчику и заказал для себя виллу.

— Хочу построить виллу,— сказал он.— Чтобы уютная была и красивая снаружи и внутри. Плачу наличными за все. Только вы уж пошевеливайтесь, мне ждать некогда. Словом, начертите-ка проект виллы.

И подрядчик начертил ему проект виллы. Но Магнусу вздумалось внести разные поправки в проект — уж очень обыкновенной казалась ему вилла на чертеже,— и он решил тут и там добавить по комнате. Виллу окрестили Ящиком Кубиков, и люди говорили, будто в ней впору заблудиться без карты. Но самому Магнусу она казалась великолепной. «Какой богатый вид у моего дома»,— должно быть, думал он.

Войны не тормозят времени, а, напротив, подгоняют его.

Накатила новая волна — нужды, нищеты, эпидемий и смут.

А потом мясо и масло снова понемногу сделались доступны обыкновенным людям.

Сердце радовалось за детей: теперь они могли, наконец, наесться досыта, по крайней мере хоть иногда.

Что ж, этак мы скоро доберемся и до тридцатых годов, и в самом деле — вот и добрались.

И тут я вдруг надумал съездить домой, поглядеть на старый родной край.

И вот иду я этим летом и городом этим. Все как и прежде. Столкнулся я на улице с Ниссе, и он тоже сказал:

— Да, знаешь, здесь все, как и прежде. Как было все, так и есть.

Пошли мы на кладбище.

— Здесь Улле лежит, помнишь его?— сказал Ниссе.— Улле наш, утонул который. Вот могила его.

Стоим вспоминаем Улле. Даровитый человек был. И добрый очень. Не умри он — и то стоило бы сказать: хороший он человек. Помнится, в море кто-то тонул. И Улле бросился в воду. Кто тонул, тот выплыл, а Улле вот не выплыл. Утонул он. Вот о чем мы вспоминаем сейчас.

— А тот, другой, уцелел, значит,— проговорил Ниссе. Больше почти и нечего сказать об этом деле. Человека спасли — к жизни вернули.

— Трус он был,— говорит Ниссе.

Мне понятно, о ком он так говорит.

— Уж лучше бы...— начал Ниссе.

Но не посмел договорить до конца.

И я тоже сказал:

— Да, правда, уж лучше бы...

— Такой прекрасный человек был Улле,— сказал Ниссе.— С какой стороны ни взгляни — прекрасный. Добрый и умный. Ему бы подумать чуточку, прежде чем кидаться спасать этого... этого...

— Этого Магнуса,— вставил я.

Тут и Ниссе тоже наконец сказал прямо:

— Да, вот именно — этого Магнуса!

Мы немного постояли молча. Лето отяжелело от зелени, и дивный покой повсюду разлит на кладбище. Мы склонили головы, будто кланяясь Улле. Как давно это было — когда мимо нас прогремела война. Как давно это было — когда Улле стоял на станции и громко кричал:

— Безумие это! Люди сошли с ума! Зачем допустили такое, это же бред!

И калеки глядели на него свинцовым взглядом своих усталых, воспаленных глаз.

Они же не понимали, что такое кричал наш Улле. Может, думали они, он ругает их за то, что они немцы или русские. А может, они думали, что он сумасшедший.

Полицейский тогда подошел к нам и сказал:

— Нельзя здесь кричать! Марш! Прочь отсюда!

— Да,— вздохнул Ниссе.— Да, да,— сказал он про себя.— Так давно это было. А помнишь?..

Я помню. Магнус... Да, Магнус сказал тогда, что таких щенят вроде Улле нужно гнать из публичных мест. Стоят тут, мол, и позорят Швецию в глазах иностранцев. Да и в самой войне, должно быть, есть смысл, коль скоро войны случаются постоянно. И коль скоро на них можно заработать деньги.

— Да,— сказал Ниссе.— А после того случая вскоре настало лето. Магнус сидел у себя в конторе в сердце столицы, и захотелось ему вдруг похвастаться перед другими делягами. Вроде бы он такой пловец замечательный. Захочет — море переплывет. А потом, как очутился на глубине — струсил и начал вопить. И Улле с набережной прыгнул в воду.

А что было потом? Что ж, почти все уже сказано. Кроме того, быть может, что Магнус послал сто крон родителям Улле. А они отослали ему эти деньги назад. Но Магнус и после все так же сидел в своей конторе в самом сердце столицы и хвастал, что вот, мол, был на волосок от гибели. И посулил, что закажет статую, дабы увековечить память об Улле. И вместе с другими делягами придумывал надписи к памятнику. Здесь покоится герой. Человек, который спас жизнь другому.

И тогда кто-то сказал:

— А здесь сидит человек, который украл жизнь у другого. Трус. Деляга. И спекулянт.

Ниссе пришел в ту контору и набил Магнусу морду. А потом заплатил штраф за это. Магнус ведь подал на него в суд.

Так-то вот.

Чуть погодя я спросил про Магнуса. Где он сейчас? Здесь, в городе? Как его дела?

Ниссе помедлил с ответом, потом вдруг рассмеялся:

— Дела как? Как и следовало ожидать. Сказать по правде, я подумал тогда: по заслугам. Нынче я выкинул всю историю из головы — ведь сколько воды с тех пор утекло, а

тогда я подумал: вот и ладно, поделом тебе! Магнус потерял тогда все, что нажил, и виллу тоже. И так запутался в долгах, что ему уже вовек из них не выпутаться. А вилла стоит где стояла. Будто памятник Магнусу.

— А сам-то он чем занят?

И опять рассмеялся Ниссе.

— Могильщик он,— сказал Ниссе.

И правда, есть мудрость в провидении, подумали мы оба.

— Это он присматривает за могилой Улле с тех пор, как умерли родители покойного, а братья и сестры уехали отсюда. Видишь, какая ухоженная могила.

— Но он-то как принял все это? Как он держится?

— Как держится? Да как всегда. Вины своей не чувствует вовсе. И ждет не дождется новой войны. Когда перед ним откроются новые возможности.

Мы ушли с кладбища. И на обратном пути повстречали многих старых знакомых, и здоровались со всеми, болтали о том о сем, говорили: ах какое чудесное лето, да, да, правда чудесное лето, будем надеяться, что у нас еще долго будет стоять такая погода.

Вот и Магнус идет. Он чуть постарше и Ниссе, и автора этого рассказа — так, года на два, на три. Должно быть, он держит путь на кладбище — рыть могилы. Но он не спешит.

— Смотри-ка, кто к нам пожаловал!— говорит он, ухмыляясь мне в лицо.

И снова начинается разговор о том, как хорошо мы все поживаем и какое нынче стоит чудесное лето.

— А я, знаешь, на кладбище служу,— говорит Магнус,— могильщикам подсобляю. Неплохая работа. Разве что в такой день, как нынче, изойдешь потом.

Еще бы. День-то какой жаркий.

— А ты, стало быть, пописываешь,— продолжает Магнус.— Выдумываешь, значит, сочиняешь и этим кормишься. Вот бы и мне не худо рассказать кое-что: чего только я не повидал, в каких переделках не бывал!

— Да, конечно,— говорю я.

— Ты о войне пиши,— говорит он.— Война, приятель,— вот истинно великое время!

— Да, конечно,— говорю я.— И правда стоило бы написать.

А теперь ему пора на работу. Привет, будь здоров, приятель.

Мы с Ниссе шагаем рядом. И он говорит:

— Слушай. Я часто вспоминаю Улле. Вот и сегодня тоже. И я думаю, что он был прав.

— Прав — в чем?

— Я вот что сказать хочу: прав был Улле, когда стоял на станции и кричал, что люди сошли с ума, коли бросились рубить друг друга. А Магнус не прав. Понял? Не прав!

— Но ведь кругом во всем мире такой мрак сейчас, Ниссе,— говорю я.— Как знать, вдруг правда на стороне Магнуса? И войны нужны, чтобы процветала коммерция?

Тут Ниссе прямо посреди улицы хватает меня за руку и кричит:

— Нет, нельзя принять эту правду, понял? Нельзя, невозможно! Прав должен быть Улле! Улле — а не тот, другой! Ты понял: прав Улле!

Что мне ему ответить?

Тридцатые годы, канун рождества

I

Старуха зажгла фонарь и, услышав, как вспыхнула и зашипела спичка, подумала вдруг, до чего же хорошая нынче жизнь пошла. Так думала она с привычной радостью каждый вечер, когда шла задать борову на ночь корму, да и вообще всякий раз, выходя под вечер из дома в свинарник или в сарай. Сначала она думала (чувство счастья всегда набегало двумя волнами), что надо бы провести электричество и в свинарник тоже, и тут же спохватывалась: какая благодать, чистота какая, сказочное какое удобство — электрический свет в избе! Четыре года уже горит он у них в горнице, провели его, знать, в тот последний раз, когда сын Карл приезжал домой на побывку, а все не перестаешь восхищаться электричеством этим. Радио — диковинный ящик, он как был, так и останется чудом, но совсем по-другому восхищаешься электричеством. Прекрасные голоса, прекрасную музыку источает радио, отчего недолго и оробеть, тем более что приемник этот и шуметь, и ругаться мастер, зато над электричеством ты сам хозяин. Скажешь: да будет свет! — тут же и будет он; хочешь — работай, хочешь — читай. Всякий раз, зажигая фонарь, старая думает: «Надо бы провести в свинарник электричество». И тут же ее захлестывает радость оттого, что свет горит в избе. С этой мыслью спускается она с крыльца и идет к хлеву, с этой мыслью входит она к борову. И говорит ему тихо-тихо: — Что ж, терпи, хряк, терпи, довольно с тебя и керосиновой лампы. Небось скажешь: было бы пошло. Пусть бы и вовсе в потемках. — А сама еще думает: «Теперь тебе, хряк, уже недолго и жить осталось».

Старуха жалеет борова, она, можно сказать, привязалась к нему, ведь как ни хотели они со стариком заиметь корову, а мечта эта так и не сбылась. Старая пыталась было подсчитать, сколько боронов перебивало у них в хлеву, но сбилась со счета. На пальцах надо бы посчитать или же на бумаге, с пером в руках. Один год только они не держали борова — в тысяча девятьсот двенадцатом то было, когда хворь почти на весь год уложила ее, хозяйку дома, в кровать. Боронов сорок было у них, не меньше.

Она отворила наружную дверь свинарника, за которой обычно до самых злых осенних холодов стоит бочка с кормом, а теперь, известно, бочку уже перенесли внутрь, в хлев. Стоило старухе отодвинуть щеколду на заиндевевшей внутренней двери, как ее сразу же обдало теплом. И сама дверь, и беленые стены влажно блестели в свете фонаря.

Боров тихонько хрюкнул при виде хозяйки и, грузный, тяжелый, можно сказать, созревший для убоя, подошел к кормушке и тут уж захрюкал погромче. Старуха достала корма из бочки и перемешала его с пойлом, что принесла в ведре. Она стояла в плотной пелене пара и теплого пойла, и всякий раз, как зачерпывала пойло и выливала его в кормушку, пар легким облачком взлетал к потолку. Боров жадно пожирал корм, спокойно и довольно похрюкивал. Старуха перегнулась через край загона и почесала хряка по спине.

— Ах ты толстяк этакий,— проговорила она.

Сколько свиней перебивало у них — всех не упомнишь. А все же и сейчас не забыла она того борова, с черной щетинкой на спине. Такие не дают хорошего мяса, говорили ей люди, да только зря говорили. Разве что весом тот боров не взял. Вот был у них однажды другой кабан — жирнее она не видывала,— да лапы у него так ослабли, что он под конец и встать-то не мог, так и лежал.

Известь надо было ему давать, говорили люди. Но мясо у него оказалось хорошее, чистое. А в другой раз им с Никласом такой боров попался, что вида людей не терпел, вот, спрашивается, с чего бы? В ту пору они с Никласом подолгу толковали обо всем. Должно быть, у борова это от рождения,

а значит, судьба, решили они. Небось сами-то они со скотиной всегда по-доброму обходились.

— Ах ты толстяк этакий! — повторила старуха.

Карл говорил, что покупная свинина, особенно американская, хуже домашней, должно быть, скармливают скотине невпроворот кукурузы или еще что-нибудь вроде этого, а на корабле, случается, рассказывал Карл, и такой свининой потчуют, которая отдает селедкой. Не иначе какой-нибудь бедный норвежский рыбак борова своего продал. Отведать бы любопытства ради такой свинины. Сама-то по себе селедка — вкусная штука. Но может, нехорошо, когда к вкусу свинины примешивается вкус сельди.

Однажды ей такой смекалистый боров попался — почти как человек, его Розаном прозвали, но вот весу он нисколько не нагулял. «Слишком много думает», — говорил тогда Никлас.

Теперь вот Никлас уже полтора года как хворает, весной ему семьдесят сравняется. Ничего худого у него вроде нет, вот только утомился он, да еще животом мается. Известно, не от разгульной жизни: Никлас небось заработков своих не пропивал, да и табаком сверх меры не баловался. А уж если случалось ему слегка захмелеть — к примеру, на свадьбе их и когда Лину крестили — дочку, что потом бог прибрал, или на конфирмации сыновей Карла и Исака (пришлось вдвоем их конфирмовать, оттого что Исак как-то поотстал от других), да еще на похоронах деда, старого Исака, — Никласа и хмельного никогда не тянуло на драку, только на пляску, разве что когда совсем разойдется, на пальцах борется горазд был.

Она почесала борова по спине и снова подумала, до чего же хорошая у нее жизнь. А что Лина семнадцати лет окончила свои дни, так и то, спустя столько лет, может, стоит почесть за благо: хулили ведь люди девушку, да и было на лице у нее большое родимое пятно, ее бы ни один порядочный парень замуж не взял. Исак служит путевым обходчиком на станции на юге страны, все дети его живы и здоровы. А Карл стал моряком, он плавает по морям — чай, и свет повидал,

и ума набрался. Люди сказывали, дитя у него растет в Бохуслене, — да, чудная штука жизнь. Всякий раз на рождество, а иной раз и просто так, когда выдавался случай, Карл присылал родителям немного денег. А сам Никлас получает от государства пенсию — шестьсот крон до самого конца жизни, и, бог даст, он еще проживет несколько лет.

А и боров в последние свои дни вроде доволен жизнью, килограммов девяносто небось нагулял, не меньше. Они с Никласом не спешат его закалывать — режут борова обычно в предрождественский месяц, и то лишь после второго воскресенья, но студень вполне успевают сварить, а свинина отлично сохраняется до рождества, когда ее кладут в рассол. Завтра суббота. После обеда к ним придет, как только освободится от своих дел, Генрик Нильссон — он и заколет борова. За труды он обычно берет себе килограмм грудинки да еще пузырь, чтобы ребятишкам его в сочельник воздушным шариком поиграть.

Узловатой рукой она приподняла фонарь и осветила на борова. Странная и простая вещь — счастье! Счастьем нынче полна душа старой женщины, и кажется ей, будто и боров счастлив, хоть ему и недолго уже осталось ждать смерти. А что, короткая ему выдалась жизнь, да уж зато хорошая, кормили борова всегда отменно: она и пойло ему варила, и заправляла его мукой грубого помола. Свинарник у него теплый и даже, можно сказать, красивый, если, конечно, не смотреть на пол, но вряд ли боров огорчился из-за пола, свинья — она и есть свинья. У него всегда была солома на подстилку, они не скупилась, приносили ему сколько надо, чтобы он мог и на пол ее вытаскивать, да и вообще так чисто содержали его, как только мог он сам желать, если, конечно, боров этого желал. Хорошо бы ему легкую смерть. Хотя о смерти тут и думать не надо. Какая уж смерть у борова — просто закалывают его, и он превращается в свинину.

Боров захрюкал и поднял на хозяйку глаза — ей почудилось, будто он улыбнулся.

Блестят в свете фонаря влажные от тепла белены стены, поблескивают капли на потолке, нет-нет да и упадет капля,

долго висевшая там вверху и напитавшаяся влагой, одна, другая, третья, и эта музыка капель — словно аккомпанемент ко всему бездонному, тихому счастью, что разлито вокруг.

Она не сразу увидела его, только чутьем угадала, что кто-то в снежной мгле стоит у крыльца. Когда она подняла фонарь, луч света упал на мужчину. Она сделала к нему несколько шагов и окликнула его: «Добрый вечер!»

Он что-то пробормотал непонятное, потом прокашлялся и с усилием выговорил:

— Допри фечер.

Услышав его хриплый голос, старуха еще выше подняла фонарь и внимательно оглядела пришельца. На нем была старая потертая куртка, на голове — спортивная фуражка, примерно такая же, как у Карла, на ногах — полуботинки. Лицо смуглое, изможденное, обросшее жесткой щетиной.

Он снял фуражку и поклонился старухе.

— Допри фечер,— повторил он.

Черные глаза мерцали во тьме. «Не иначе бродяга,— подумала она,— цыган, должно быть». Так и не подойдя вплотную к мужчине, выпрямилась, спросила:

— Что нужно вам?

Они с Никласом в доме одни, до поселка, знать, километр, не меньше.

Человек снова пробормотал что-то, поклонился ей, словно какой-нибудь знатной богачке, жене судьи, например, и с усилием выдохнул:

— Еда!

Глаза его молили, от усталости слипались веки.

«А нет ли у него вшей»? — размышляла она. Вшей-то небось займет радости мало, что ни говори, а пакости этой у них с мужем сроду не водилось, они всегда ходили чисто, опрятно, как бы бедно ни жили в ту пору, когда дети еще не подросли. Но она не сразу решилась спросить об этом мужчину, помедлила слегка, прежде чем обронить:

— А насекомых у вас нет?

Он не сразу понял ее, может, обижен умом? Но она показала пальцем сперва на него, потом на себя, почесала волосы у виска под толстым платком. Тут он покачал головой, но старуха не очень-то ему поверила.

— Подождите здесь,— сказала она, еще раз посветила незнакомцу в лицо фонарем и прошагала мимо него к крыльцу.

Незнакомец не понял и нерешительно двинулся следом.

Открыв наружную дверь избы, она обернулась к нему и снова сказала:

— Подождать можете здесь.

Тут он понял ее и сошел с крыльца.

Захлопнув за собой дверь, она задержалась в сенях и принялась размышлять. Дверь запирать не стала. А все же на всякий случай сняла со стены безмен и внесла его в дом. Сунув его за плиту, она вошла к Никласу в спальню.

Он открыл глаза, взглянул ей в лицо, и она вспомнила второпях, что к рождеству надобно будет покрасивее подстричь ему бороду.

— Там во дворе мужчина какой-то стоит,— сказала она.— Есть просит. Да только он дюже чудной с виду и по-людски двух слов связать не может.

Никлас вскинул тощую узловатую руку, почесал косматую седую бороду. Он тоже задумался, те же мысли лезли ему в голову, что и старухе.

— Безмен со стены сняла? — спросил он.

— За плиту сунула.

— А топорик?

Про топорик-то она и забыла, он в сенях, в углу лежит.

— Неси-ка его сюда,— сказал Никлас.— И дай его мне.

Она принесла топорик, и он спрятал его под одеяло. Чего только не слыхали они от людей, да и в газете читали про всякие злые дела.

— А с виду-то он какой? — спросил старик.

— Не то чтобы урод,— сказала она,— но уж больно одежда на нем худая, да и черен как цыган.

— Рослый, что ли, сильный мужик?

Старик потянулся и сел на кровати, при этом в его долговязом, изношенном теле хрустнули кости.

Старуха задумалась — не знала, что и ответить.

— Да,— наконец сказала она,— должно быть, он немалого роста. Но похоже, он уже давно голодает. Похоже, у него чахотка, да и осип он совсем.

Старик снова погрузился в раздумье.

— Сочельник скоро,— сказал он.

— То-то и оно,— кивнула старуха.

И снова старики призадумались.

— Дай ему хлеба каравай да еще что-нибудь к хлебу,— сказал Никлас.

Старая осторожно приоткрыла дверь. Человек стоял у крыльца, ждал. Она взяла в сенях фонарь, осветила незнакомца и поманила его к себе:

— Зайдите-ка в дом, больно студено во дворе!

Незнакомец нерешительно приблизился, фуражку снял раньше, чем взшел на крыльцо.

Старая хотела оставить его в сенях, но только она приоткрыла кухонную дверь, как Никлас подал голос из спальни:

— Ступайте-ка сюда, посидите в тепле!

Старуха кивком указала незнакомцу на сенную дверь, он закрыл ее и прошел за старухой на кухню. Она вытерла фартуком стул и поставила его у окна. Чтобы Никлас мог видеть гостя из спальни, с кровати своей.

И Никлас увидел его: черные вьющиеся волосы, седые у висков, орлиный нос, тяжелые веки, усталые черные глаза, желтоватая кожа под жесткой иссиня-черной щетиной. Должно быть, татарин или цыган, подумал Никлас, а вообще-то все одно. И с какой жадностью этот чужак ест!

Незнакомец обеими тонкими своими руками сжимает мягкий круглый каравай, который старая помазала маргарином.

Он не сводит глаз с хлеба и жует его с молчаливой жадностью, которая кажется странной и неуместной в этой кухне, где все дышит уютом, покоем. Ни слова не говорит он — только ест.

— Небось долго в пути были? — догадалась спросить его

старая, но он не ответил, лишь недоуменно взглянул на нее. Затем, кажется, понял вопрос и кивнул утвердительно, не переставая жевать.

— Да, в пути на морозе не всегда сладко,— подал голос с кровати старик. Незнакомец поднял на него глаза и снова кивнул. Потом будто вспомнил что-то, встал, поклонился старику, лежавшему на кровати в спальне, и вновь сел.

Старуха принесла ему кружку молока, он положил хлеб себе на колени и стал пить.

— Может, дать ему тарелку каши?— сказал старик.

В горшке еще оставалось немного каши, старуха думала разогреть ее утром на завтрак. Она положила каши в тарелку и растерянно застыла на месте с нею в руках, но тут же приняла смелое решение:

— Садитесь-ка лучше за стол.

И показала, куда садиться. Незнакомец встал. Пересел к столу и молча принялся есть. Но теперь он уже не глотал так быстро, кажется, голод понемногу отступал. Никлас беспокойно ворочался в кровати; сейчас он уже не мог видеть гостя. Но старуха замерла у плиты, за спиной у нее — безмен.

— Может, вам и кофе налить? — спросила она.

Незнакомец кивнул. Кофейник еще горячий — нынче утром она сварила вкусный кофе. А они с Никласом потом кофе попьют, когда уйдет незнакомец. Тот пьет свой кофе молча, кладет в него два куска сахара и в блюде не наливают — из чашки пьет.

Гость встал из-за стола и поклонился хозяйке.

— Еще чашку хотите?

Она подошла к нему с кофейником в руках, но он покачал головой и улыбнулся ей мягкой, теплой улыбкой. И, не успев подумать, она показала на стул у окна:

— Коли желаете — посидите здесь, отдохните чуток.

Старик, который тревожно сидел на кровати и прислушивался к разговору, вздохнул с облегчением. И увидел, что незнакомец похорошел лицом — не иначе как от еды и кофе. На щеках появился легкий румянец, и он уже не глядит

так пугливо. А все же и сейчас вид у него усталый, и сидит он на стуле ссутулившись — словно совсем у него силы иссякли.

— Должно быть, вы сейчас без работы?

Незнакомец не сразу понял, о чем его спрашивают, но прежде чем старик успел повторить свой вопрос, он кивнул утвердительно:

— Да, без работы.

Как чудно он говорит — уж точно он не из здешних мест.

— Вы, надо понимать, к нам издалека?— спросил старик.

Гость снова задумался над вопросом, потом кивнул:

— Да, очень-очень издалека.

— Откуда же?— спросила старуха.

Гость выговорил с усилием:

— О, ниоткуда. Очень-очень далеко.

— Ниоткуда?— повторила старуха, а сама вся подалась вперед, разглядывая незнакомца. За спиной — на всякий случай — у нее безмен, пальцами она ощущает холод железа, да и старик крепче стиснул рукоятку топора под овчиной. Да только у незнакомца этого вроде мозги на месте, все-то он понимает. Неужто он так никуда и не приписан?— К какому церковному приходу приписаны?— спрашивает старуха.

А незнакомец, зная, не до конца смекнул, о чем она, но все же ответил:

— Я еврей.

Ничего им это не говорит. Евреи, подумала старуха, кажется, евреи распяли Христа, Спасителя нашего, во веки веков аминь... И в наказание велено было им скитаться по свету или, может, это только тому сапожнику из Иерусалима велено было, который является людям раз в сто лет — народу в назидание. А как-то раз много лет назад забрел сюда из города еврей, фартуками он торговал, пуговицами и подтяжками — да разве упомнишь весь товар? Стало быть, евреи вроде лоточников, коробейников, значит.

Ее вдруг осенила новая мысль. В голосе ее зазвучал страх, но она хотела дознаться правды:

— Вы, может, подрядились торговать чем-нибудь? Нитками, резинками для чулок и прочим товаром?

— Торговать?

Незнакомец вновь улыбнулся и покачал головой:

— Нет, я не торгую.

— Но должно же у вас свое занятие быть? — настаивал старик. — Что вы за человек? — Старик и так и эдак пытался растолковать смысл вопроса странному гостю, который так не скоро ухватывал, что говорят ему люди. — Чем вы занимаетесь? В общем, что за работа у вас, ремесло или, может, дело какое?

На этот раз чужеземец довольно быстро ухватил суть вопроса; он снова улыбнулся и, с трудом подбирая слова, ответил:

— Я есть... я есть... — он долго искал нужное слово, — я есть учитель... учитель и доктор.

— Надо же, и учитель, и доктор! — буркнула старуха, изумленно и недоверчиво косясь на него.

А старик не удержался и обронил, можно сказать, законный вопрос:

— Коли так, значит, порядком жизнь вас потрянула, верно я понимаю?

Чужеземец вспыхнул, когда до него дошло, что хотел сказать этот старик, сидящий в кровати. Кровь бросилась ему в лицо, черные глаза сверкнули в благословенном свете электрической лампочки, человек нервно стиснул руки (совсем как любой христианин порядочный, подумала старуха, кто знает, может, он раскаялся и перешел в веру христову, люди говорят, и такие бывают), подался вперед головой, вытянул тонкую шею и старательно стал объяснять.

Не такой он доктор, который от недугов лечит, — он доктор по книгам.

— По книгам? — удивился старик. На что может рассчитывать чужака, заделавшийся доктором по книгам? Слышать о таком, известно, слышали. Но сказать по правде...

И снова чужеземец попытался объяснить, что к чему. Учитель он, но у себя на родине жить ему запрещают, а

может, и здесь тоже не позволят жить. Ему нужна работа, любая работа — только бы ему разрешили остаться.

Слово за слово — стал он рассказывать старикам о себе. Они вздрогнули, услышав странные слова «концентрационный лагерь». Кое-что они слышали об этом, даже читали в газете, но ведь она так далеко, страна эта, где, говорят, нынче избивают людей, которые ни в чем не повинны, разве что когда-то в давние времена они распяли господа нашего Иисуса Христа. Но коли так, думала старуха, стало быть, пророчество-то исполнилось...

Старики старались привыкнуть к его речи и уловить ее смысл, и под конец вся картина сделалась им ясна и прочно осела у них в голове. Их гость — чужеземец, учитель; его схватили за то, что он доктор по книгам, которые запретили, и, само собой, стали его избивать. А было время, он чуть ли не мальчиком воевал на фронте. Да и вообще многое в жизни изведаль.

— А вы бы поостереглись, — с укором произнес Никлас. — И заделались бы доктором по другим книгам, которые не запрещены.

— Ты лучше помолчи, Никлас, — сказала старуха, — может, тебе всего этого не понять!

— Чего уж тут не понять! — возмутился Никлас. — Всякий небось поймет: коли человек поостерегся, и работал как положено, и в армии срок свой отслужил да еще воевал — неужто уж он права своего не добьется!

— Да уж конечно! — согласилась старуха. Но тут же спохватилась: никак незнакомец сказал, будто еврей он, а евреи нынче тоже вроде как под запретом. И обернулась к гостю: — Никак вы сказали, что вы еврей? Это как же — настоящий еврей?

Он устало улыбнулся, глядя в ее морщинистое лицо, и кивнул.

И тут вдруг еще одна мысль осенила ее, почти кошунственная, да только вспомнилась ей картинка, увиденная когда-то в одной божественной книге. Человек, который сейчас сидит у них на кухне, которого всякий принял бы за бродягу,

похож — так сейчас кажется старой — на Иисуса Христа, единородного сына господнего, во веки веков аминь. Старуха испугалась этой мысли, вторгшейся в круг ее будничных дум и забот, и, сама того не заметив, молитвенно сложила руки.

Старик высказал ее сокровенную мысль на свой лад:

— Видать, изрядно вы утомились. Коли нет насекомых на вас, так, пожалуй, можете переночевать здесь на кухонной тахте. Бывает, у человека заводится эта пакость без всякой его вины. Вот когда мы дорогу строили и в бараке жили, так однажды завшивели, все как один. Но каждый тут же помыл голову зеленым мылом и сменил белье.

Женщина взглянула на мужа. Обе руки его лежат сейчас на одеяле.

— Коли так,— сказала она,— пусть и он помоемся перед сном и наденет чистую рубаху. У тебя-то их столько, рубах этих, на весь твой век хватит.

Человек сидел у них на виду, смежив веки. Но как только тело его начинало сползать со стула, он вздрагивал и тут же усаживался на нем как следует.

— Можете сегодня поспать у нас на тахте,— сказала старуха.— А потом...

Она осеклась — ведь вот еще, сама того почти не заметив, она уже решила оставить у себя в доме незнакомца сколько понадобится, чтобы он выпался и отдохнул. А может, и до тех пор (смутно мелькнула у нее эта мысль), пока не придет сюда председатель сельской общины и не расспросит его.

Незнакомца уложили на тахту, дали ему подушку под голову и два старых лоскутных одеяла, чтобы укрыться. И он тут же уснул.

Старуха налила чашку кофе и отнесла ее Никласу в спальню, и себе тоже оставила чашку. И молча присела к столу на кухне, задумалась.

Никлас ни единым словом не укорил ее за ее порыв, а все же хотелось ей оправдаться:

— Слушай, Никлас.

— Чего тебе?

— Я думала, он Генрику подсобит завтра вечером с бором-то. И после кровяную колбасу нам делать поможет, и опять же — коптить. Вот не знаю только, сумеет ли. Никлас задумался.

— Я так полагаю — справится он,— важно изрек он под конец.— Небось он и учитель, и доктор, и на войне был, уж верно, там многому его обучили. Сам я, когда службу воинскую отбывал, тоже многому выучился.

Старуха стала прибираться перед сном. Заперла наружную дверь. И вдруг вспомнила что-то. Сходила на кухню, взяла безмен и снова вывесила его в сени. Нехорошо как-то оставлять его за плитой.

Погасив свет на кухне, он вошла в спальню. Притворила за собой дверь, помедлила у порога. Замок заржавел, много лет уж не запирали они двери. И задвижки никакой на ней нет.

Старик глянул на жену, но промолчал.

Она потушила свет (до чего же удобно, что не надо из всех сил задувать пламя, а достаточно повернуть выключатель!) и уже собралась было влезть на кровать к старику, как вдруг спросила:

— А этот где?..

Ей стыдно было выговорить то слово.

— Я под кровать его сунул,— ответил Никлас.

Они полежали молча, но старик вдруг встрепенулся:

— А говорят, евреям нельзя есть свинину.

Столько досады в голосе у старика...

— Да,— вздохнула старуха,— но, может, не все это соблюдают. А уж кровяную колбасу, надо думать, ему позволено есть.

И снова они помолчали.

— Послушай, Никлас,— сказала старуха.— Еще ребенком я как-то видела в одной книге картинку — на ней был Христос. И понимаешь, человек этот, что сейчас спит у нас на кухне, похож на *Него*.

Старик вспомнил, что когда-то давно она уже рассказывала ему про ту картинку.

— Да, да, много всего такого на свете, чего и не объяснишь,— сказал он.

А старая думала:

«Ибо алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; был странником, и вы приняли меня...»*

II

Где только не показывался этот чужестранец! Дети видели его на обратном пути из школы, видели его и на проторенных стезях, что вели лесистыми склонами к маленьким хуторам вверху на горе, и во многие дома заходил он и на странном ломаном своем языке просил у хозяев поесть. А иной раз и не просил ничего, а только стоял у дверей, покуда хозяева, хоть и с опаской, да и боясь вшей, не приглашали его в дом и давали ему кусок хлеба с маслом или тарелку каши. Случалось, оставляли его ночевать — где на полу, где на кухонном диване, а где на скотном дворе, если при усадьбе были службы.

А когда перед самым рождеством трое суток подряд не затихала пурга, он в самую злую метель появлялся то тут, то там. То тут, то там мелькало его лицо, красное от ветра, исхлестанное снегом. Видели его люди, ездившие в лес срубить елку на рождество, и еще видели, как он долго стоял у входа в одну, потом в другую лавку поселка. Народ качал головой и дивился. Никто не принимал его за арестанта, сбежавшего из тюрьмы, по крайней мере за обыкновенного арестанта,— знали ведь примерно, откуда он и что выпало ему пережить. Во многих домах его заставляли рассказывать о себе. Хозяева долго вытягивали из него каждое слово, а после уж кормили гостя и укладывали на ночлег. И как бы потом ни передавали, ни переиначивали его слова, картина складывалась ясная: чужеземец был беженцем. Неприязни к нему не чувствовали, по крайней мере, недругов у него было мало, но как-то ни у кого не хватало духу подарить ему верное пристанище. Человек этот оказался выброшен в пучину жуткого хаоса и нигде не мог закрепиться: он метал-

* Евангелие от Матфея, гл. 24, 35.

ся по кругу, гонимый какой-то чудовищной силой в том большом, страшном мире, о котором здесь знали лишь понаслышке. Может, если бы люди не видели этого человека, они по-иному судили бы о его соплеменниках. Кое-кому из жителей поселка, кто выписывал городскую газету, доподлинно было известно, что люди вроде этого чужеземца представляют собой опасность для нашей страны, отовсюду вытесняют наших и вообще наносят нам большой вред, а что до страданий, которые будто бы выпали на их долю, то частью они просто вымышлены, частью же вполне заслужены. А все же когда местные жители видели чужеземца, они не могли так думать о нем, даже если очень старались. Никакой дьявольской игры он не вел, дабы испортить народ или отвратить его от христианской веры, а ел и пил, как все люди, и ни один младенец не исчез из дома, покуда тот человек бродил в здешних местах. Все понимали, что он безгранично, неизлечимо несчастен, — человек, которому никто не в силах истинно помочь и который не в силах помочь сам себе. Как-то раз в одном доме ему предложили наколоть дров в уплату за еду и ночлег, и как только он понял, чего от него хотят — а его отвели к дровяному сараю, — он взял топор и застыл у сарая с топором в руках, тихо улыбаясь чему-то. Пилил он так неумело, что не мог надеяться угодить жителям здешнего лесного края. Топором орудовал чуть лучше, а ведь, казалось бы, он целых четыре года был на войне — с 1914-го по 1918-й, сам рассказывал.

Так или иначе, много дров он наколоть не мог, видно, слишком ослаб от голода. Но укорять его в лени не приходилось: он охотно брался за работу и трудился так, что пот градом стекал с его смуглого лица. Просто очень уж он был неумелый.

А ведь был он учитель, да притом еще доктор. Он обучал людей диковинным наукам и сделался доктором по книгам. Здешнему народу трудно понять, как это человек мог быть доктором по книгам. Кто-то пытался объяснить, что это, мол, высокое звание — свидетельство великой учености, ведь даже не каждый священник достаивался подобного звания

и далеко не всякий лекарь мог похвастать подобной ученой степенью, а заодно и дипломом. Ему полагалось, рассказывали другие, носить цилиндр, по крайней мере всякий раз, как он публично станет говорить речь. Даже и об этом шли оживленные толки в усадьбах, на хуторах, хоть и работы в эти дни перед рождеством у всех было невпроворот.

В одной усадьбе он прожил четыре дня, там как раз резали борова, и старуха спросила, не может ли он подсобить им — промывать кишки. Он согласился охотно, и старик, старуха да тот крестьянин, что помогал резать борова, долго беседовали с ним. Там и поведал он кое-что о себе, во всяком случае — самое главное.

Смугл и черноволос был он, как татарин какой-нибудь или цыган, и старуха сказала, может, он умеет посуду лудить — а то как раз в кофейнике появился какой-то резкий запах. Чужеземец заглянул в кофейник, выплеснул из него всю гущу (этим он не очень-то обрадовал стариков, в гущу той еще сила есть, полагали они) и вымыл посудину водой с мылом. Но лудить он не умел. Растерянно стоял он с кофейником в руках и боязливо поглядывал на стариков. Они сполоснули кофейник и на пробу сварили кофе. Напиток получился слишком уж жидкий — гущу-то всю он вылил, — но привкус исчез. Запах вернулся лишь через неделю, и тогда старики решили, что отдадут кофейник в починку весной, когда на хутор зайдут всамделишные цыгане. А когда сели за стол, после того как сосед зарезал борова, старуха спросила чужеземца, ест ли он свинину. И опять он улыбнулся и отобедал с ними, а после остался у них еще на один день и провертывал мясо через мясорубку. Ладони его сплошь покрылись пузырями — а ведь он вроде бы воевал на войне, — да и весь он изошел потом. Хотели они угостить его солянкой из свиных потрохов, все в тот самый раз, когда Генрик резал у них свинью, но чужеземец, отведав солянки и узнав, из чего она сварена, не стал ее есть — показал на грудь и затряс головой. И жевательного табачку ему дали, но он стал нюхать его, как принято у людей образованных, и курить он тоже не стал, а опять же показал на свою грудь.

В той усадьбе ему предложили вымыться с головы до ног — боялись, нет ли на нем вшей. Хозяйка дала ему одну из старых домотканых мужниных рубах — просторная была рубаха да теплая, а хозяин тамошний от старости давно слег в кровать, так что беречь рубашки не было смысла. Вошла старуха на кухню с рубахой в руках (а ей к тому же, должно быть, любопытно было взглянуть, каков чужеземец из себя телом) и видит: на спине, на плечах — повсюду у него огромные багровые меты, свежие рубцы. Он улыбнулся и обстоятельно объяснил ей, что его избивали дубинами и кнутом — там, откуда он пришел, люди его страны. Натруженными старческими пальцами потрогала она его рубцы и подумала: «Какой страшный грех». И велела ему подойти поближе к свету, чтобы старик, который лежал на кровати в спальне, тоже мог их увидеть. — Грех-то какой, — сказал старик. А старуха долго всматривалась в смуглое, небритое лицо чужеземца и долго размышляла о чем-то. Наконец, она проговорила: видать, вы из рода господа нашего Иисуса Христа, аминь.

Старики хотели оставить странника у себя, но тот ушел. Может, еще и вернусь, сказал он. А может, мне не позволят даже остаться в этой стране.

Все дивились — неужто нельзя подыскать себе какую-нибудь работу? Чужеземец еще не стар, сам ведь сказал, что ему тридцать семь лет, да только не верилось что-то — на вид ему можно было дать все пятьдесят, вот и виски у него седые совсем. Ведь любой человек, который ведет себя как положено в обществе, соблюдает законы и платит налоги, не пьянствует и даже не жует табака, да и не курит, — должен же такой человек иметь право кормиться трудом рук своих или искусством своим, пусть даже знанием премудростей египетских. А впрочем, должно быть, бедняге нет и не будет покоя на этой земле.

— Меня могут выслать из вашей страны, — сказал он.

Они поразмыслили над его словами и решили: а все-таки должны же позволить ему поселиться в какой-то стране! Не может же он, в самом деле, вскарабкаться на небо или

покинуть эту планету только потому, что рожден евреем!

Не знаю, отвечал он, разрешения все нет и нет.

Но ведь здесь в стране для него сколько угодно дела найдется, стоит только захотеть. А не то в Америке — прежде все туда уезжали. Но нынче и у нас настали хорошие времена, по крайней мере так говорят, большой спрос пошел на дерево и руду, мы все это за границу вывозим, так, стало быть, есть нужда в людях, которые сидели бы в конторах и знали иностранные языки и в премудростях египетских разбирались.

Нет, говорил чужеземец, не знает он, что его ждет. Может, в один прекрасный день явится судебный исполнитель и тронет его за плечо.

А тогда что же будет?

Не знаю, говорил он.

Но может, тогда стоит податься в землю обетованную, уж если ему не дают жить в стране, где он родился, где родились и отец его, и дед?

О горах Ливанских, об озере Генисаретском, о Капернауме и оливковых рощах размечтались они.

Нет, и там тоже нет ему места.

Городская газета писала, что необходимо правильно понять все, что происходит в стране, откуда явился странник. И жители лесной стороны по вечерам сидели у себя дома, размышляли и силились правильно понять. Но что-то ничего не получалось у них, хоть думали они и размышляли так, что трещала аж голова — средоточие разума и все кипело в груди — обители чувств. Жители той самой страны, откуда пришел незнакомец, вроде совсем взбесились — ринулись на улицы и били в магазинах витрины и выбрасывали весь товар прямо на мостовую и врывались в дома и выгоняли людей из квартир, избивали их и увозили в тюрьму. И они сожгли храмы этих людей — каменные громады, похожие на наши церкви, — синагоги их, где сидели они и плакали, призывая бога своего Саваофа или как еще там его звали.

И страховые общества ничего не думали им платить. Зато

пострадавшие должны были уплатить большие суммы молодчикам, которые врывались в их заведения и что пожгли там, что разбили, а что украли, и велено было им все за свой счет привести в порядок, а как приведут в порядок то, что разбили громилы, так сразу же этим самым громилам все и отдать.

Газета, издававшаяся в городе, писала, что необходимо правильно понять все это.

И жители лесной стороны читали ее и размышляли.

Газета писала: мол, посылали мы в ту страну своего человека, который там все осмотрел и всю тамошнюю жизнь изучил. На улицах — чистота и порядок; поезда ходят по расписанию. Нашего специального корреспондента — так называют посланцев газеты — приняли настолько приветливо и любезно, что ему тамошняя жизнь вполне пришлась по вкусу и он скоро стал чувствовать себя совсем как дома.

Крупные концентрационные лагеря, писал он, там и вправду имеются, да только созданы они с целью оградить оголтелых еврейских преступников от гнева народного. Показывали ему один такой лагерь. Все заключенные — если, конечно, можно их так назвать — были счастливы и довольны тем, что их ограждают. И все ответствовали корреспонденту, что им в лагере очень нравится и отлично живется, да и вообще лучшего места не сыщешь. Здесь обучают их многим полезным делам, которых они прежде не ведали. Словом, живут они здесь бодрой, здоровой жизнью на свежем воздухе. Все как один говорили это, одними и теми же словами. И газета писала, что любые рассказы про жестокое обращение — пустая болтовня. У всех заключенных, если не считать чахоточных, вид вполне здоровый, упитанный. Да только некоторые из них, конечно, даже на первый взгляд — типичные преступники. И можно понять народ той страны, который не хочет видеть их у себя — на своих улицах и площадях. А ведь это счастливый и свободный народ.

Жители лесной стороны читали газету, задумывались над

прочитанным и силились его осознать. Значит, так: приходит к тебе мужик и избивает тебя. Для начала ты должен сказать ему спасибо, а затем и заплатить за труды. Потом он отберет у тебя корову, если она есть у тебя, и свинью отберет — сам-то ты так изувечен побоями, что уже не в силах ухаживать за скотиной. И за это тоже ты должен его поблагодарить. И опять же заплатить ему за труды. Потом он выгонит тебя из дома твоего. И нигде тебе места не будет — хоть в воздухе повисай. Но и за то, что он позволит тебе повиснуть в воздухе, ты тоже заплатишь ему немалые деньги. Короче, избьют тебя так, что костей не соберешь, отнимут у тебя все до последнего, да еще и выбросят на дорогу — и опять же ты должен будешь заплатить обидчикам за труды.

Иные вскакивали с газетой в руках — скомкают, бывало, газету и швырнут ее на пол с криком: «ТЬфу, чертовщина!»

А газета все писала и писала, что, дескать, обязаны мы обдумать, осознать, осмыслить и правильно понять дела эти.

Он бредет и бредет по кругу.

Люди поглядывают на него и дают ему пищу и предлагают ночлег — всюду, куда бы он ни пришел. Или почти что всюду. Внизу, в долине, в поселке, тоже нашлись двое-трое таких, что выучились обдумывать, осознавать и осмысливать, правильно понимать...

Они говорят:

— Пусть возвращается туда, откуда приехал! Небось у нас своих нищих полно, которым мы вынуждены помогать!

Но коли забредет к ним иной бедолага здешний, они и ему скажут:

— Много вас здесь таких развелось, околачиваетесь по чужим дворам да от работы бегаете.

Чужеземец стоит на распутье и глядит сквозь метель.

Придет день, и явится судебный исполнитель, тронет его рукой за плечо и скажет...

Да, что скажет ему судебный исполнитель?

И снова лето — и снова осень

Вечер в начале лета

Месяцы зыблются кучками пепла:
дней головешки, распавшийся год.
Чадной свечой оплывают недели,
но кто-то шепнул, что весна отшумела,
что лето наступит вот-вот.

Дыры от моли в тканях, посуды грязной ворох,
и пыль все дни, как снегом, замела.
Прожектора над краем мирных хижин,
готовясь к будущим событиям, шарят в небе,
вокруг машин горят полосы света,
и зыбкие колеблются углы —
там в имени твоём двойное А.

Я шторы задерну и в комнату поворочусь,
я шторы задерну и в пыли черту прочерчу,
к тебе обернусь я, о Жизнь, и за книгу схвачусь,
и радио выключу, и от окна отойду, и подойду к телефону,
и в памяти имя начну искать,
и позвоню наконец, и удостоверюсь,
что часы не врут.

* Стихи к рассказу переведены А. Париным.

I И снова лето

Летом они живут на маленьком хуторе высоко в горах, у самой дороги в Швецию. Иногда по вечерам мужчина и мальчик выходят к дороге, змеящейся над домом по склону, и смотрят на проезжающих. Среди них много туристов на велосипедах. Однажды мужчина и мальчик увидели тандем*, он выглядел так противоестественно на фоне всего окружающего, что казалось: на такой высоте и на всех этих спусках и подъемах он вот-вот переломится пополам. У женщин-путешественниц — большие седла, и большой багаж, и ослепительные возбужденные улыбки, которые дарит людям свобода. Молодые парни двигаются уверенно и все без исключения кажутся мастерами по ремонту велосипедов и механиками, которые приехали сюда вовсе не для того, чтобы побыть на природе, любоваться горами и спать в палатках, а используют свободный вечер, чтобы испытать собранный ими велосипед необычной конструкции. Часто путешественники останавливаются наверху, в самой высшей точке, там, где дорога начинает спускаться к шведской границе, приветливо здороваются, удивляются и смущаются, узнав, что мальчик и мужчина — шведы. И тут у них меняется выражение лица, и хотя они, конечно, продолжают говорить о том, какое здесь удивительно красивое место, но уже не с таким неприкрытым восхищением, а как бы щадя чувства приезжих. Бывает, что мужчина молча стоит рядом с мальчиком, предоставляя тому отвечать. Ребенок уже говорит на местном диалекте, но утрирует его так, что кажется — он подсмеивается над самим собой, над тем, что он стоит здесь и болтает на чужом языке. Туристы думают, что он бедный мальчик, сын хозяев бедного хутора, и наклоняются к нему очень ласково и с искренним сочувствием спрашивают, далеко ли его школа. И очень смущаются, когда слышат, что школа его в Брумме**.

* Двухместный двухколесный велосипед с двойной заблокированной передачей.

** Пригород Стокгольма.

Мужчина часто отвечает на вопросы проезжих. Говорит, сколько километров до пограничной деревни — сам он никогда там не был — или, наоборот, до ближайшего городка в Лиерне. Когда спрашивают, чем он здесь занимается, он говорит, что рыбачит. Он советует, как получить разрешение на ловлю, и не лжет, когда говорит, что не на всякое место такое разрешение получишь, что сам он по чистой случайности получил право ловить рыбу на большом участке, но как раз здесь, где ему разрешено ловить на участке почти в квадратную милю, посторонним это воспрещается. Он стоит у обочины — ни дать ни взять представитель горного хутора, — всем своим видом давая понять, что может выступить посредником между чужаками на велосипедах и здешними хозяевами. Он этого не обещает, не предлагает, но можно поклясться, что это так. Это игра, в которую он играет, чтобы стало легче на душе: он как бы создает в воображении новую родину, новое надежное пристанище для себя и мальчика и в этом черпает уверенность и спокойствие.

Порой ему кажется, что она — та, кого больше нет, — стоит рядом и с улыбкой слушает его почти-хоть-и-не-совсем-ложь. Он хочет удержать проезжего, и удержать свое настроение, и удержать спокойствие от того, что она стоит рядом и улыбается. Он все повторяет «нам здесь нравится», и это «мы» — не только он и мальчик. Он говорит как бы между прочим и старается быть приятным, обаятельным, любезным человеком у дороги, чтобы у проезжего появилось чувство, что здесь живет счастливая семья, которая знает здешние горные места, — чувство, что вот-вот *она* выйдет со двора и нерешительно приблизится к дороге и спросит, с кем разговаривают муж и сын, и скажет: ужин готов, уже поздно, мальчику пора спать. Он может долго стоять у дороги, стремясь удержать какого-нибудь туриста хвостовством и лестью, восхищаясь его аккуратной поклажей, его замечательным велосипедом, тем, в какой он отличной форме, и нечеловеческим напряжением сил, потребовавшимся ему на то, чтобы проехать на велосипеде по горным дорогам так много миль; удержать похвалами, удержать

расспросами, описанием природы и рыбалки, удержать еще на несколько минут. Не то чтобы ему уж так нужно было цепляться за этих чужих людей; но с их помощью он создает себе настроение, позволяющее прожить, вытерпеть этот день, это лето. Тогда боль, что гнетет его, медленно отступает. Он сам отчетливо видит, как это происходит. Чтобы преодолеть утрату, он должен воссоздать то, что утратил: на миг, на несколько минут вернуть себе настроение, которое необходимо ему, чтобы выжить, пусть даже в основе этого настроения — ничто или почти ничто.

Несколько недель он живет в великом спокойствии. Каждый день после обеда он на веслах выезжает на озеро. Он внушает себе какое-то подобие удовлетворения тем, что у него хорошо идет работа. Он занят новым переводом старой, знаменитой детской книжки. С французского. Иногда работа застопоривается — какое-то слово навевает воспоминания, он погружается в них, смакует слово, в одиночестве произносит его вслух. И он избегает этого слова, бессовестно опускает его, но знает, что непременно переведет его потом, когда будет читать готовую рукопись или в корректуре. Сидя в лодке, на которой закреплены две удочки, работая веслами, он принуждает себя думать о том, о чем старался не вспоминать последние полгода. Он разговаривает с ней вслух, как будто она сидит в лодке.

— Я должен говорить с тобой, без этого я не могу жить, — произносит он. — Гляди, у меня клюнуло. Форель! Сейчас мы ее вытащим. Сиди спокойно, не наклоняйся в ту сторону. Эх, сорвалась! Нет, она здесь.

Он оборачивается и видит, что *ее* нет в лодке.

— Ты здесь, со мной, — говорит он вслух. — Ты ближе ко мне, чем когда-либо прежде. Никогда не была ты так близка мне, как теперь. Ты всегда со мной. Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя, что ты всегда со мной, хотя я не могу быть с тобой. Ты вместе с нами этим летом. Мы все — единое целое. Мы с тобою вдвоем в лодке. Я не могу покинуть тебя. Я не хочу покидать тебя. Ты должна быть со мной в моем мире.

Потом мираж рассеивается, он в одиночестве сидит на веслах. Он пытается вернуть свой настрой, но это слишком трудно, это ему не под силу.

— Проклятое озеро,— говорит он.— От мошкары деваться некуда.

Толчок, одна удочка с силой закачалась. Это старый, много раз чиненный спиннинг, забрасывать его уже нельзя. Катушка трещит, леска начинает разматываться. Но вскоре туго натягивается. Крючок зацепился за что-то на дне. Человек кладет удочку в лодку, крепко прижимает ее ногой и резко дает задний ход; лодка возвращается, а он начинает сматывать вторую леску. И вместе с ней ту, что зацепилась.

Один крючок поднимается легко. Второй застрял на глубине нескольких метров. Человек пытается еще покрутить катушку и видит, как блесна сверкает там, внизу. Он дергает, как ему кажется, слегка, но леска обрывается. Она была слишком старая. Блесна сверкнула и исчезла. Не иначе как ушла под корягу или камень.

Он пробует заметить место. Но лодка двигалась, и вода везде одинакова, а до каменистого и поросшего кустарником берега слишком далеко, там не отыскать надежный ориентир.

Но это уже повод действовать, и он радуется и, стараясь, чтобы лодку не сносило, в то же время стягивает с себя одежду. Прежде чем броситься в воду, он пробует ее рукой. Он знает, что вода холодная, но тем не менее опускается, держась руками за борт, и отпускает лодку, осторожно, чтобы не толкнуть ее. Вода очень холодная. Он несколько раз глубоко вдыхает воздух и ныряет. Но не видит ничего, кроме дна. Вот коряга, может быть, та самая. Нет, ничего нет. А уже пора всплывать.

Лодку отнесло довольно далеко. Когда он плывет к ней, на него вдруг наваливается усталость. Он знает, что долго плыть не может — слишком плохо работает сердце, а лодку, как ему кажется, относит с такой же скоростью, с какой он плывет. Он переходит на кроль, брызги летят во все стороны, теперь он движется быстрее, но его охватывает страх — как

бы не остаться здесь навсегда. Он боится не смерти вообще, а именно смерти здесь, в одиночестве, смерти, о которой никто не узнает; он не боится уйти из жизни, но не хочет покинуть тех, для кого он еще что-то значит. А раз так — надо плыть, надо следить за дыханием, надо торопиться. Ухватившись за борт, он вынужден немного повисеть на руках, отдохнуть, собраться с силами, прежде чем подняться в лодку. Тяжело дыша, он валится на корму, вытирается рубашкой, ложится, вытянувшись, насколько это возможно, закинув ноги на заднюю скамью, и закрывает глаза. Открывает их и видит: летний день на большом, тихом горном озере. Она могла бы быть с ним. Ничего не случилось. Она могла бы сидеть на берегу и ждать и спросить, поймал ли он что-нибудь. Ничего еще не случилось, потому что сейчас не это лето, а прошлое, или позапрошрое, или какое-нибудь другое из давно прошедших.

В те дни, когда привозят почту, в почтовый ящик у дороги опускают газеты. Шофер почтового автомобиля дает длинный сигнал по приезде и короткий, когда собирается уезжать. Он не торопится и поджидает, когда люди выйдут за письмами и газетами. И пока они не успели с жадным любопытством развернуть газеты, у него есть возможность сообщить им о том, что делается в мире. Похоже, что будет война. Или: похоже, что ее не будет. Он еще молод, ему лет тридцать. Стоя на дороге и мимоходом сообщая о последних событиях, о которых здесь, в горах, пока не успели узнать, он кажется не по годам развитым ребенком. Заголовки и передовицы в его устах оборачиваются вопросами: не так ли? Как по-вашему? Похоже, что... А может быть... Но когда он снова сидит в машине, держа руки на руле, он кажется самоуверенным генералом, только что отдавшим приказ начать сражение, из которого он выйдет победителем.

Почта приносит с собой тревогу. В письмах — вопросы о том, что будет дальше с миром, а газеты полны фактов, которые, в сущности, не что иное, как вопросительные

знаки. Великие державы противостоят друг другу. Другие державы, тоже великие и поменьше, глядят на них, выжидая. Похоже, что в мире воцарилась пугающая тишина, в которой слышно щелканье взводимого курка, слышно, как человечество словно бы тяжело ворочается в окопе, чтобы принять положение, удобное для стрельбы. Палец тянется к спусковому крючку. Миллионы глаз вперились в неведомое будущее. Так все это видится отсюда, с гор.

Мужчина с мальчиком вышли на вечернюю прогулку по дороге. Мошкара все еще здорово донимает, отец чертыхается и слышит, как сын шепотом повторяет за ним проклятья, раз, другой, много раз, все решительнее и громче. В конце концов отец вынужден сделать ему замечание:

— Не ругайся!

Мальчик смеется и дерзит:

— А ты, папа? Ты не ругаешься? Конечно, папа никогда не ругается.

Отцу остается только подхватить смех.

— Я больше не буду ругаться. Сегодня вечером,— добавляет он уже не так уверенно.

Он молча говорит про себя, беззвучно шевеля губами: ты с нами в этот вечер. Вот сейчас ты посмеялась над моим обещанием, половинчатым — только на сегодняшний вечер. Я говорю «проклятая мошкара», а хочу сказать, что мне до боли не хватает тебя, что я не знаю, как мне жить без тебя дальше. Ты была великой привычкой моей жизни, моей возлюбленной, моей колеей, моей дорогой, моей судьбой. Я могу идти дальше лишь этой дорогой, и никакой другой. Я избегаю мест, где мы вместе проводили лето долгие годы, но хочу бывать в местах, которые напоминают их. Тогда ты можешь быть с нами, ты не окончательно потеряна для нас. И я для того ворчу, чтобы в нашем странствии была реальность, ибо всякие досадные мелочи как раз и делают реальность по-настоящему реальной.

Потом он вспоминает больше, чем ему бы хотелось. Он еще не может принять это без содрогания. Он размахивает

руками, и слова теснятся у него на языке; вслух он произносит:

— Ужас до чего надоела эта мошкара.

— Ага,— отвечает одиннадцатилетний мальчик и хихикает.— Кошмар и ужас. Про... противная мошкара,— добавляет он дерзко.— Все эти чер... черные мушки.

— Говорить так — все равно что ругаться,— делает замечание отец.— Ругаться некрасиво, невоспитанно и глупо,— бубнит он как затверженный урок. Но сомнительность собственного поведения не позволяет ему читать мораль слишком уж долго.— Пора домой и спать,— говорит он.

Низкая машина со шведским номером, этакая усовершенствованная и выкрашенная блестящей зеленой краской жестяная коробка на резиновых колесах, останавливается на дороге над хутором. В ней один человек, молодой, судя по лицу — любитель выпить. Губы у него вяло отвисли, глаза налиты кровью, лицо помятое и весь вид какой-то усталый и безрадостный.

— Красиво здесь,— говорит он, даже не взглянув окрест.— А рыба водится?

Говорит он невнятно.

Человек у дороги отвечает, что да, здесь красиво и рыба водится, но... И он неторопливо объясняет, что здесь трудно получить разрешение на ловлю рыбы, вся рыба в частном владении. Но рыбы много, рыба крупная, водятся лосось и форель, и здесь действительно красиво. Чего стоит хотя бы это кольцо высоких вершин! И огромное голубое озеро.

— Я сделал круг,— говорит автомобилист.— Мне бы теперь рыбку.

Он улыбается, не поднимая глаз.

— Одну-единственную рыбешку,— говорит он,— и больше мне ничего не надо.

Есть в нем что-то от литературы. Он как будто сошел со страниц пессимистического романа первых послевоенных лет или рассказа из более позднего периода, основанного то ли на собственном, то ли на заимствованном опыте.

С точки зрения мировой истории он — бессмыслица. Он привел в движение эту машину из железа, никеля, стали и резины, и благодаря ей его собственные скромные силы возросли до уровня сил исполина, но цель, на которую они направлены, ничтожна. Этот человек — символ определенной цивилизации, которая в своем великом пессимизме пожирает самое себя. Он привел в движение исполинские силы, чтобы с их помощью всего лишь выловить рыбешку в каком-нибудь норвежском горном озере. Он накручивает вокруг рыбы ленту движения, петлю, сеть из волнистых горных дорог и, быть может полупьяный, с бешеной скоростью описывает вокруг своей рыбки широкие дуги. Не то чтобы он выглядел несчастным; но он, по-видимому, принадлежит к тем, кому недоступно счастье. А мотор все время работает, как будто этот парень только и ждет, чтобы ему указали, где находится рыба, и тут же помчится в погоню за ней со скоростью многих километров в час.

— Я сделал круг, он занял два дня,— говорит автомобилист и неловко извлекает потрепанную автодорожную карту.— Раз уж у меня есть тачка.

— Да,— говорит человек у дороги,— потрясающе практичная вещь — небольшой автомобиль. Можешь ехать куда тебе в голову взбредет. Я много раз подумывал прежде, может, купить мне подержанную машину — она ведь стоит не больше пятисот крон — и как-нибудь летом поехать на ней куда глаза глядят, а когда она забастует или развалится, просто бросить ее, и все. Как бы там ни было, а летний отдых обошелся бы дешево.

— Точно.— Человек в машине одобряюще кивает.— Это большое дело, когда можешь ехать куда тебе в голову взбредет. Вроде того круга, который сделал я.

Он неловко взмахивает рукой, карта шуршит.

— Теперь бы еще только рыбешку,— говорит он.— Мне много не надо. Одну маленькую рыбешку. Вот такую.— Он показывает длину рыбы.— Раз уж у меня теперь есть автомобиль и я могу сделать такой круг. Может, больше уж такой возможности не будет.

— Да, времена сейчас тревожные,— говорит человек у дороги.

И он продолжает внутренний монолог, ставший для него одним из способов выжить; парня можно назвать несимпатичным; или, вернее, в нем нет ни одной черты, которая вызывала бы симпатию. Он — моторизованное равнодушие, столько-то лошадиных сил полнейшего отупения. Послушай, милая, зачем мы стоим здесь? Зачем останавливаем такое мгновение, как это? Мгновение, повремени! Нет, мгновение, пролети, уйди скорее, пусть на смену тебе придет другое!

— Здесь, в Норвегии, такое хорошее пиво,— мечтательно говорит человек в автомобиле.— Да, да, времена сейчас тревожные, это вы в самую точку попали. Вот я и подумал, что надо до того, как начнется заварушка, успеть попутешествовать. Потом — если начнется,— может, они придут и сюда. И машину у меня, наверное, заберут. И тогда я буду радоваться, что сделал этот круг. Будет приятно вспомнить,— заканчивает он вяло.

Вот она, унылая глупость, думает мужчина у дороги. Она представляет опасность для человечества. Но в ней таится зародыш надежды. Надежды на то, что существует нечто красивое, о чем приятно вспомнить. На то, что при скорости по меньшей мере пятьдесят километров в час ты обратишь на эту красоту налитые кровью глаза и, может, сохранишь ее в душе, и семя даст росток, и много спустя, в другое время ты осознаешь, что видел ее и что это было бесконечно прекрасно. И ты пожалеешь, что тогда не остался надолго, не дал семени по-настоящему прорасти.

— Потом уж нечего будет и думать о том, чтобы хорошо провести лето,— говорит человек в машине.— Хотя черт его знает.

— Да, ничего нельзя знать заранее,— говорит человек у дороги.

Он искоса поглядывает на мальчика, который слышал, как незнакомец выругался. Мальчик шевелит губами.

— Вы путешествуете в одиночку,— говорит человек у

дороги человеку в железной коробке. На заднем сиденье лежат дорожная сумка типа несессера, легкое светлое пальто, дамская шляпа и несколько бутылок пива.

Автотурист оборачивается с пьяной неловкостью и пристально смотрит на заднее сиденье. Всей тяжестью наваливается на одну руку и, открыв рот, таращит глаза. Потом снова откидывается и кладет руки на руль.

— Нет,— говорит он.— Да,— говорит он вдруг севшим голосом, его язык с трудом ворочается во рту.— То есть этим летом — да.

— Тебе пора домой,— говорит человек у дороги мальчику.

Стоит солнцу сесть, и сразу как будто наступает осень, ведь лето идет на убыль. Мошкары становится меньше, теперь она смиренная, не слишком донимает.

Человек в машине говорит:

— Когда пальто и шляпа со мной, можно по крайней мере воображать... Понимаете, мы расстались. Мы хотели вместе приехать сюда, да и в другие места тоже. Ничего не вышло, сам не знаю почему. Но не вышло. А так можно воображать, будто она сидит здесь. Если только пореже оборачиваться.

— Да,— говорит человек у дороги.

— Ну, счастливо,— вяло произносит человек в машине.— И спасибо за любезность, вы мне так хорошо все объяснили. Правда, очень мило с вашей стороны. Желаю приятно провести отпуск.

— И вам того же,— отвечает человек у дороги.— Всего наилучшего. Приятного путешествия. Внизу, у границы, наверняка есть гостиница.

— Спасибо, спасибо,— говорит человек в машине.— Счастливо, счастливо.

И жестяная коробочка с мотором трогается с места.

Мальчик спит под своей овчиной. Мужчина вынимает сетку от мошкары и закрывает окно. Если оставить его открытым, в комнате станет сыро, когда туман поднимется с озера или спустится с гор и плотно окутает хутор.

Не нужны иные места

Не нужны иные места.
Не нужна власть иная.
Вечером неисчислимы места,
где вспомнятся речи давнего мая.
Но некому вспомнить, кругом глухота.

Дню подведена черта,
настала пора ночная.

II Туман

И хотя далекие отголоски конвульсий рода человеческого порой достигают его, он живет в своем собственном замкнутом мирке, в своем внутреннем ландшафте, вне времени. Он стоит нагнувшись у низкого окошка, выходящего на озеро, упершись руками в оконный переплет — напряженная, утомительная поза,— и смотрит, как ночной туман взбирается вверх и смыкается вокруг горного хутора, где он проводит лето. Туман приходит с запада, он рождается далеко, на той стороне озера — так представляется этому человеку,— и ползет, извивается, катится волнами, беззвучными, быстрыми, бескрайними, на восток, к шведской границе, выше и выше. Вот теперь волны добрались до голой продолговатой горы за озером, просочились сквозь редкую березовую рощу, опустились на сгущающийся еловый бор, достигли спокойной, отливающей металлическим блеском поверхности воды, скользят над озером и начинают пробиваться вверх над лугами, к трем усадьбам. Так представляется этому человеку. Как будто облака наплывают на него и на весь маленький мирок усадьбы, хотя он знает, что это не облака. Легкая дымка поднимается от земли, от болот, от озера и окутывает гору тонкой, несказанно мягкой ватой. На вершинах не остается ничего, все стекает по склонам в беззвучном, но словно бы осознанном,

рассчитанном движении, и вновь поднимается, и вновь опускается. Туман повторяет все очертания ландшафта, как будто хочет снять с него слепок,— еще и такая мысль приходит в голову человеку. Туман на свой лад останавливает бег времени, он обволакивает день и сохраняет неизменным все, что в этот день случилось. Ты все еще с нами, неизменно, снова думает он о ней.

Усадьбы спят. Их пока еще видно, но через несколько минут все они утонут, спрячутся, каждая в отдельности, в этой беззвучно крадущейся, легко воспаряющей желтоватой влаге. Словно под водой, жители усадеб тяжело ворочаются, укрытые своими овчинами, защищающими их от ревматизма, и во сне стараются улечься так, чтоб как можно лучше отдохнуло усталое от работы тело, ищут самую удобную ямку в соломенном матрасе. Ведь сенокос еще не кончился, и работать приходится от зари до зари.

Теперь туман добрался до человека, стоящего у окна. Озеро исчезает. Удаляется, ускользает. Сарай внизу на лугах истаивают, и вот желтоватая дымка уже добралась до дерновой кровли птичника и гонтовой кровли гумна и перекатывается на ту сторону, куда дом выходит фасадом, она ползет через двор к окнам дома.

Мужчина у окна слышит за своей спиной равномерное дыхание мальчика, он оборачивается и смотрит на ребенка. Ночи все еще такие светлые, что можно различить предметы в комнате: несколько книг, кипу старых еженедельников на полу у кровати, керосиновую лампу — на случай, если захочется почитать, зеркало, мерцающее на стене, а под ним умывальник; принадлежности для рыбной ловли, пьексы, рюкзак, спортивные костюмы — каждый висит на своем гвозде. Мальчик спит, зарывшись в овчину лицом. Выгоревшие от солнца волосы мерцают белизной, они белее подушки, и кажется, что они излучают свет. Только его дыхание нарушает тишину, или нет: вот внизу кто-то снова тяжело заворочался в постели.

Теперь они со всех сторон окружены туманом. Птичник стерт с лица земли, единственное, что еще можно разглядеть,

это крылечко и сени наискосок под окном. На стеклах капли воды. Ревматизм, как смертоносный отравляющий газ на фронте, проникает в этот дом в горах.

Дон Кристобаль, я готов!

Это присловье было у них в ходу, когда она еще была на свете. Оно — из какого-то читанного давным-давно романа. Применимо во всех случаях жизни: когда встаешь утром, когда ешь, когда на лодке выезжаешь на озеро, когда, передохнув, продолжаешь восхождение к горной вершине; когда голоден, когда сыт, вечером, когда устал и идешь наверх и ложишься спать; когда остаешься наедине с собой в плену тумана.

Однажды, не так уж давно, он жил на маленькой вилле. Он вспомнил лестницу из гостиной в спальню, память о ней он ощущает физически. Ты поднимался, держась за перила, выкрашенные серебрянкой. Поднявшись в свою комнату, ты оказывался замкнут в своей жизни — в прибежище, сущности, характера, важности которого ты не понимал до конца, пока не потерял его. Жизнь за его пределами, та, другая, напоминала море, еще не прорвавшее дамбу. Бывали ночи — их он вспоминает теперь особенно отчетливо, — когда оба они испытывали счастье защищенности. В открытом окне шелестели сосны.

И в первые месяцы жизни в пригороде — звук упрямых, неизбежных, как судьба, пневматических буров. Они начинали работать по утрам, атакуя покой, утреннюю тишину, которую еще сильнее подчеркивали одинокие торопливые шаги прохожего, спешащего к шоссе, чтобы поспеть на ранний автобус. Через полчаса — час шаги таких прохожих нарушали тишину уже чаще. Но вокруг них — как он назвал бы это сейчас, глядя издалека, — были обширные поля тишины и спокойствия. Газета, упавшая в почтовый ящик, была каплей, с плеском ударившейся о море тишины. Звяканье молочных бутылок, которые они потом найдут у себя на крыльце, было царапиной где-то на границе молчания. Стук посуды на кухне был будничным фоном утренней тишины.

А потом приближались тяжелые шаги. Звякали ломы и ло-

паты, которые рабочие вытаскивали из сарая. Со стуком переворачивались и устанавливались на настилах тачки для строительного мусора. Слышались голоса, что-то с грохотом падало. И вдруг, по сигналу, в строго определенное время, включались пневмобуры. Им отвечали другие буры по соседству, потом они замирали, вновь отвечали, замирали или поглощались рокотом тяжелого грузовика, взбиравшегося в гору. В то время когда мы завтракали, обычно производились взрывные работы. Стрекот пулемета и тяжелая артиллерия. Строительство мирного пригородного поселка продолжалось, думает он.

Человек, глядящий в туман, думает об этом с улыбкой, чтобы смягчить горечь потери. Так оно и было, вспоминает он, в те времена покой ощущался как обыденность и по утрам я всегда досадовал на грохот буров, который мешал работать, — теперь он уже не помнил над чем, над какой-то книгой; грохот прерывал ход мысли, представлявшейся ему головокружительной или чрезвычайно тонкой. Когда он думает об этом теперь, он находит, что в этой тишине и в его работе, да и в грохоте буров был глубокий, истинный смысл жизни для него, для них. *Она* исчезла из этого прошлого мира — или нет, не то чтобы исчезла, но ее голоса в этом прошлом мире больше не слышно, да и его самого там больше нет. Теперь, когда все это перестало быть привычным, когда слетела окружающая жизнь шелуха мелочей, он видит, что именно тишина и покой, и *она* рядом, и работа, и мир кругом были смыслом жизни для него.

— Милая! — говорит он вслух, в окно.

Неважно, какую веру исповедует человек, думает он устало, лишь бы в нее входило *это*. Чтобы, когда все несущественное слетит, как шелуха, остались покой и мир. Я буду верить в того бога, который даст мне *это*, а не будет преследовать меня.

Он слышит, как обитатели усадьбы ворочаются в своих постелях, полуразбуженные его шагами в просторных сенях. Они прислушиваются сквозь сон. Они уже заметили, что в туманные ночи он выходит из дома, но вряд ли удивляются

или видят в этом что-то необычное, думает он. Они принимают его, принимают с дружелюбным любопытством, которое никогда не становится назойливым, и оба гостя, мужчина и мальчик, окружены застенчивой, почти робкой услужливостью хозяев. Возможно, несколько минут они лежат без сна и размышляют о том, куда он отправился, далеко ли. Раскрыв рот, они задерживают дыхание и прислушиваются и, может быть, на мгновение приподнимают голову с подушки, а потом снова погружаются в себя и свои сны. Они надежно защищены, и защищенность эта покоится лишь на той реальной жизни, которая окружает их и которую они знают. Их можно назвать фаталистами, ибо без покорности судьбе не обойтись здесь, на вершинах, но это не слепая покорность. Забота хозяев обволакивает приезжего. Но в это время года вершины неопасны, а озеро нынче ночью спокойно. И хозяева отдают его — так представляется приезжему — на волю судьбы, созданного реальной жизнью провидения, которое есть лишь их собственный опыт, опыт жизни здесь, на вершинах. Бог для них — не полицейский, который с суровым милосердием, жестко, но желая им добра, гонит их по жизненному пути, дабы они вовремя успели в рай и, заняв отведенные места, выслушали свой приговор. Нет, бог для них — помощник, человеческий подмастерье, которого им порой приходится учить, по дружбе смотреть сквозь пальцы, когда он окажется слишком уж туп, а в остальном приписывать ему честь успеха, достигнутого благодаря их собственному умению, собственному усердию, собственной смекалке, будь то в сенокосе, в охоте на куропаток, в рыбной ловле или осушении болот. Они никогда не говорят о нем, даже обиняками, ибо они стыдливы и знают, что в их устах это прозвучало бы фальшью. Они даже не верят — если б заглянуть им в души — в собственные байки про бога и дьявола, которые рассказывают долгими осенними и зимними вечерами. И не надеются на него, и на самом деле он для них вовсе не всеблаг и не всемогущ, в их глазах он скорее что-то вроде случайно выбранной точки отсчета, какие используют картографы и землемеры, определяя на-

правление. Когда штормовой ветер вырвет несколько кровельных дранок, они не ждут, чтобы господь явил им особую милость, запретив дождю капать в дырку; о нет, они тут же чинят крышу, разумеется, в убеждении, что господь, вероятно, ниспошлет дождь, ведь дождю и положено быть в это время года, да к тому же и тучи собираются, и неизвестно, в какую сторону понесет их ветер, хотя кое о чем можно догадываться по цвету и яркости луны и по полету птиц.

Вот это и есть доброта. Местные жители принадлежат к числу не столь уж редко встречающихся людей, которые добры от природы, и всевышний нужен им для того, чтобы приписать ему честь и славу их собственного труда. Он, господь, для них предмет роскоши, красивый образ человеческой доброты, трудолюбия, верности и милосердия, который стоит в парадной комнате, куда заходят только по воскресеньям. Плененные туманом, не имея возможности видеть, а может быть и не желая видеть окружающий мир и попытаться уразуметь, что там творится, они создают защищенность и бога из собственного труда. Но они слишком стыдливы и слишком скромны и потому не стремятся к почетному званию добрых людей. Почетное звание нужно им и используется ими так же, как дикарем, который вырезает себе идола из дерева и надевает на него свое лучшее платье. Они знают, что идол деревянный, а платье сшито их собственными руками; это не секрет, но об этом не говорят вслух.

Когда приезжий идет по направлению к шоссе, он может считать, что *она* идет рядом. Просто ее не видно в тумане, а шагов ее не слышно только потому, что она идет с ним в ногу, а когда он останавливается и, затаив дыхание, прислушивается к ее шагам, она тоже останавливается, чтобы прислушаться к его. Тринадцать лет они ходили вместе, друг за другом или рядом, совсем близко, подчас их единение было так велико, что они не думали и не говорили о себе как о двух «я» и двух «ты», они были «мы» и надеялись состариться вместе. Вот так, во вневременном тумане или во мгле, куда не проникает реальность дня, он по-прежнему может ощущать ее рядом. Она ушла. Но ушли и те дни,

которые наступили после этого. Там, где сливаются мечты и боль потери, они двое могут встретиться вновь. Он стремится не утратить реальность, а, наоборот, вернуть в реальность ее: построить дом на облаке, и все же это дом, пусть на время, или хотя бы образ дома. Реальность — это солнце, или дождь, или множество людей, которые встречаются, и проходят мимо, и говорят друг другу разные слова; реальность может также быть мраком; секунды, часы, сутки, когда он ворочается с открытыми, настороженными глазами, погруженный в тяжелые мысли. Но сейчас реальность дала ему передышку. Чем больше мечта походит на реальность, тем сильнее она завладевает им. Ты не ушла, говорит он, шагая к шоссе. Ты здесь, думает он, и все же я не безумен. Необязательно знать, что ты ушла, я могу представить себе, что ты есть, что ты со мной, идешь рядом. Ты совсем близко. Было бы легче вообразить, что ты уехала куда-то далеко, за много миль; но и тогда мне было бы тяжело, я тосковал бы по тебе, хотя и по-иному. Я должен думать так, как я думаю, иначе я буду вообще не в силах думать о тебе.

На гору осторожно въезжает автомобиль. Он держит путь через перевал к шведской границе. Сначала слышится шум мотора, потом появляется свет: густой, желтый, он расходится широкими кругами, словно бы расплющивая туман своим жестким нажимом. Надо отойти в сторону, говорит себе приезжий. Он останавливается у края дороги. Повернув голову, он видит у себя за спиной конусы света, вгрызающиеся в туман. И сразу возникает другая реальность. Автомобиль в тумане на горной дороге. Человек одиноко стоит на краю дороги и ждет, когда проедет машина.

Но машина тормозит и останавливается рядом.

— Что это за место?

Машина норвежская.

Человек называет окрестные усадьбы. Мужчина за рулем вынимает карту, женщина, сидящая рядом, тоже склоняется над ней.

— Значит, до шведской границы не так уж далеко?

— Нет,— говорит человек у дороги.— Несколько миль.

— Здесь всегда такой туман по ночам?

— Да — в это время года. Кругом болота, да и рек много в горных долинах.

Он чувствует себя как учитель начальной школы перед своим классом.

— Дальше ведь станет полегче? Мы скоро выберемся к границе?— спрашивает человек в машине.

— Сегодня ночью туман особенно густой. Потому что нет ветра. Не знаю. Вам придется подняться еще на две горы, довольно высокие, но все же пониже этой.

— А какова дорога?

— Дорога хорошая, за ней следят.

— До сих пор это было незаметно,— говорит женщина в машине.

— Да, может, и так,— отвечает мужчина у дороги.

— У границы есть гостиница?

Мужчина у дороги не знает, сам он ехал другим путем, но говорит:

— Думаю, что есть. Наверняка. Странно было бы, если б там не было гостиницы.

— Ну спасибо.

Машина мягко трогает с места, мягко скользит прочь, шум мотора и свет расплываются в тумане. Человек все стоит у дороги и слышит, как мотор заработал сильнее: это машина поднимается на следующую гору. Потом звук исчезает, словно бы медленно тонет в озере тишины.

Человек снова пускается в путь. Он хочет снова идти с нею вдвоем в тумане, но когда останавливается и, затаив дыхание, прислушивается, то не чувствует, как она тоже остановилась, и затаила дыхание, и прислушивается. Напрягая до предела слух, он различает шум мотора далеко-далеко внизу; но этот звук ему совсем не хочется слышать. Она исчезла, осталась только реальность, мечта исчезла, осталась только усталость.

В реальности происходит не так много событий, как мы иногда воображаем, думает он. Мелкие события часто бедны содержанием. Много событий происходит в жизни вообще.

Но никто не живет в этой жизни вообще. Никто не живет там, где происходит много событий. Это в мире наших представлений жизнь богата событиями, но не в реальности. Двое в автомобиле. Они едут в машине по дороге куда-то, рокот мотора нагоняет на них сон, они едут и вспоминают разные различия или задумывают что-то на будущее — разговор, дело, небольшое путешествие вроде нынешнего; представление о далекой или близкой цели для них такое же событие, как и сам путь. Следующее событие — они видят меня, или мою тень, или даже не тень, а всего лишь пятно в тумане, нечто отличное от тумана и очертаниями напоминающее человека — меня. Они остановились и задали мне вопрос не потому, что я человек, я был для них лишь некто, который мог ответить на вопрос (совершенно излишний). Я был для них остановкой в пути, знаком того, что реальность, к которой они стремились любой ценой, близка. Для меня они были остановкой в пути, знаком той реальности, в которой мне совсем не хотелось быть в эту минуту. Они подтвердили, что я существую в повседневной реальной жизни. Наши встречи, ибо встреч было много: ее, его, моя, хотя вместе они составляли нашу встречу, о которой каждый мог сказать: моя встреча с двумя другими, так вот, все они — эпизод, совсем или почти совсем лишенный значения. Но реальность в ее полноте и целостности как раз и состоит из таких незначительных — или, возможно, иногда и значительных — эпизодов, которые, вместе взятые, сплетаются в житейскую суету. Реальность не существует как целое, я отношусь к ней с сомнением, она — не то, что я ощущаю кровно, а некий взгляд, к которому можно прийти задним числом, по привычке, — *а вот теперь ты идешь рядом со мной, и я могу говорить с тобой, и если захочу, я могу протянуть руку и коснуться твоей руки, милая!*

Но он не осмеливается протянуть руку.

Ты идешь рядом, думает он решительно и твердо, в эту самую минуту, здесь и сейчас, ты идешь рядом, несказанная моя потеря. Ты живая, и я могу говорить с тобой. Я не хочу вспоминать, что тебя нет, меня не отпугивает, что я иду по

границы немыслимого. Я отторгаю от себя повседневную реальность и иду с тобой; и не прошло это время, и все как год назад, и я одет как в ту минуту, которую призвал сюда, и на тебе красное в белый горошек ситцевое платье, нет, оно не лежит в запертом ящике далеко-далеко, нет, оно на тебе, а поверх — синий плащ, потому что гулять в ночном тумане холодно и сыро. Скоро мы вернемся домой и зажжем лампу.

Он добрался до вершины хребта, где дорога круто сворачивает влево и проходит среди горных отрогов и тесных глубоких долин. Миля пути в безмолвии, потом небольшой городок, а потом снова шесть миль безмолвия. Вот такова же и реальность! — думает он с вызовом. Я не преобразую ее, она такая и есть, она тоже не что иное, как мечта.

Он дошел до края озера, только оно внизу. Здесь от ствола дороги своенравной веткой отделяется тропинка. Она бежит по болоту и поднимается на вершину по другую сторону озера. Мужчина бросает вызов реальности и говорит вслух:

— Поднимемся туда! Как думаешь, хватит у тебя сил?

Он идет вдоль болота. Туман такой густой, что в двух-трех метрах уже ничего не видно. Когда он останавливается и прислушивается, он слышит, что она тоже остановилась, и знает, что она стоит и прислушивается.

— Мы пойдем не спеша, — говорит он.

Они начинают медленно подниматься. В одном месте он говорит:

— Осторожнее, здесь скользко.

А немного подальше:

— Берегись, здесь может начаться осыпь.

Туман мало-помалу рассеивается, и видимость становится все лучше. Там, на расстоянии пятидесяти метров, где редет карликовый лес, мужчина видит горы. Он еще больше замедляет шаг и теперь уже не решается ни оглянуться, ни заговорить с ней. Он шепчет:

— Ты там, за моей спиной.

Теперь туман превратился в легкий дымок, разгоняемый слабым ветерком. Мужчина в нерешительности, он продол-

жает идти уставившись в землю, останавливается, поднимает голову. Теперь видно далеко-далеко: туман превратился в тонкую дымку, парящую над голыми скалами и особенно заметную у обеих крайних вершин. Она окутывает их словно покрывалом. Внизу, на дне долин, туман плотный, белый. Там и сям из него торчат вершины, а на востоке, позади невидимого озера и далеко за последней горой, небо медленно светлеет. Она осталась внизу, в белом тумане. Идти дальше у нее не хватило сил, думает он. Дон Кристоаль, я...

Надо поторопиться. Туман редееет, уплывает, рассеивается. Она уходит все дальше и дальше, теперь он уже не успеет добежать; она ушла слишком далеко, он должен торопиться, но все равно не успеет ее догнать.

Вот и конец

Вот и конец,
я проснулся, чтобы упасть
из одной вселенной в другую.
И в этот вечер
я оставлю комнату
в согласии кротком:
нет больше страха
пред смертью, что где-то маячит.
Так покойно знать,
что покой снизойдет,
что когда-то и я успокоюсь,
что когда-то и я засну
так же покойно, как ты.

III И снова осень

Опять осень, но не похожая на все другие. И мужчина думает: разумеется, каждая осень не похожа на другие,

но отсюда, с этой высоты осенние месяцы последних восьми — десяти лет сбились в кучу, остались где-то далеко позади, вереница осенних месяцев, теряющаяся в прошлом и представляющая собой прошлое, череда завершений лета, которые теперь — теперь — выглядят как слипшийся ком. А ведь они были разные. Каждая осень оставляла по себе свою память. Но теперь кажется, что все они одинаковые, потому что они — каждая в отдельности и все, вместе взятые, — были так не похожи на нынешнюю осень.

Мужчина и мальчик должны покинуть хутор в горах, где они провели это лето. Автомобиль стоит на дороге, а вокруг собрались обитатели усадьбы. Они живут в шести-стах метрах над уровнем моря, и от них до ближайшего маленького городка полторы мили и восемь миль до ближайшей железнодорожной станции на западе. Оттуда можно доехать поездом до Трондъема. Каждый автомобиль, отъезжающий от усадьбы, сулит возможность этого грандиозного путешествия, и потому прощание становится долгим и торжественным. «Надо надеяться, погода продержится все время, пока вы будете в дороге. Приедете опять на будущий год? Надо надеяться, в поезде не будет давки. Да, целое путешествие получается — до самого Осло и Стокгольма. Счастливо! Удачи вам. Кланяйтесь Трондъему». «О» в слове «Трондъем» они произносят врасстяжку. Молодые более терпимы к новым названиям и, как правило, говорят «Тронхейм»: «Не забудьте написать нам открытку из Тронхейма — и из Осло тоже».

Длинное озеро блестит как фольга. У противоположного берега, где в воде отражаются горы, поверхность озера темно-синяя. Небо высокое и ясное. Безветрие. Урожай уже весь убран, кроме картошки: ее будут копать на следующей неделе.

Снова осень, и она не похожа на все другие.

Автомобиль трогает с места, и все машут друг другу. Приезжий оборачивается и в последний раз мельком видит их лица, успевает ощутить серьезность их выражения. Они, знает приезжий, подтверждают, что в человеке есть доброта.

Он имеет в виду не то, что человек от природы добр, хотя это, возможно, иногда случается и этого не следует отрицать. И все же доброта этих людей подтверждает доброту человека вообще. Она — неперемное условие жизни, она необходима, передается из поколения в поколение, она в своем роде патриархальна; она дает возможность выжить, душой и телом, и выражается в готовности прийти на помощь или в робком либо бурном проявлении дружелюбия, в абсолютной надежности и щедрости, которая велика именно тем, что располагает столь малыми средствами. И еще в деликатности, которая составляет существенную черту характера здешнего населения, а может быть и крестьянского характера вообще, характера крестьян-горцев.

Потом люди исчезают из вида. Дорога тут же круто взмывает вверх, описывая широкий круг по склонам горы, потом снова опускается к озеру уже за горой и тянется вдоль его берега, мимо маленького городка. У лавки машина останавливается, и Ула, водитель, вылезает и заходит в лавку. Через окно видны газеты и товары, разложенные на прилавке. Ула оставляет список предметов, которые должны быть приготовлены к тому времени, как он вечером будет проезжать городок на обратном пути. Когда он выходит, в уголке рта у него торчит зажженная сигарета. Он усаживается удобнее за рулем и запускает мотор. Но до того, как машина тронулась с места, успеваает обернуться:

— Они продолжают мобилизацию.

В лавке Ула заглянул в газеты. И в руке у него газета.

Теперь машина снова выехала на дорогу, вот она едет вдоль озера, переезжает мост через ручей и начинает подниматься. Вокруг все еще еловый лес. Но вскоре лес редет и уступает место мелкому кустарнику. Дорога порядком разъезженная — летом было большое движение, — но совсем новая, обочины посыпаны крупным щебнем. Она проложена прямо через болота. Снегозадержатели по обеим сторонам посерели от ветров и снега прошлой зимы или многих зим, но канавы вырыты недавно, в этом году или в прошлом, скорее в этом, потому что на валах выброшенной земли почти

не выросла трава. Еще немного — и автомобиль выезжает на горную пустошь.

Мальчик показывает: вон, и вон, и вон — смотри, смотри: сосны, которые упрямо выстояли, серые, искривленные, согнутые западным ветром, в этих местах задувающим сильнее других, с голыми ветками с восточной стороны — но живые. Кое-где еще торчащая верхушка елочки свидетельствует о жизни. А вон на другой стороне глубокой, почти в отвесных стенах долины голый бок скалы с многочисленными следами оползней. Ручьи после прошедшего ночью дождя бегут по склонам, словно канитель с рождественских елок. Смотри! — в возбуждении говорит мальчик и снова показывает.

Память наносит мужчине удар неслыханной силы. Они плыли на лодке во фьорде, там, внизу, на юго-западе, он и она в лодке, и лодку отнесло приливом к другому берегу. Пришлось доехать до того берега и погулять там, вернулись лишь вечером благодаря отливу. Где это было? Там, под скалой. Посмотри на все эти ручейки, милая! Как рождественская канитель на толстом животе рождественского карлика, милая! Там, наверху, горы покрыты льдом еще и после летнего солнцестояния, милая.

Ушла!

И так изранены были этим его чувства, что он не решался больше думать, бежал от мыслей. Я не найду покоя до тех пор, пока не смогу написать об этом, думает мужчина с горькой убежденностью. Этим летом ты одинока на своем кладбище, думает он. Ты не поехала с нами, милая. Нет, я не прав, лето прошло, и ты была с нами. Я не могу отпустить тебя, милая! И ты не отпускай меня.

Мобилизация!

Только сейчас это слово дошло до его сознания. Оно в буквальном смысле лежало рядом, он берет газету и смотрит на заголовки. Вдруг оказалось, что рядом лежит газета, и мужчину это удивляет. Вообще-то это пустяк, и само собой понятно, что Ула бросил газету на заднее сиденье между

отцом и сыном. Мальчику одиннадцать лет, ему хочется посмотреть, есть ли в газете комикс.

— Папа, а зачем мобилизация?

— Если на страну нападут, она должна защищаться, верно?

— Всем придется защищаться?

— Да, так они думают.

— Но тогда, значит, никто не будет нападать?

— Нет, то есть... Один нападёт — другому кажется, что он нападёт. Потому-то этот другой и проводит мобилизацию.

— А тот, который нападёт,— он проводит мобилизацию, чтобы напасть?

— Нет, он тоже говорит, что опасается нападения со стороны другого.

— Но если... да, папа, а те, которые нападут, знают сами, что они нападут?

Отцу надо что-то отвечать:

— Они говорят, что им необходимо напасть, чтобы другие не напали на них, и поэтому они нападают. Как, например, ты бросаешь камнем в другого мальчишку, потому что тебе кажется, что он собирается бросить камнем в тебя, однако ты хочешь опередить его, чтобы он не успел...

Но сыну больше неинтересно. Он коротко заявляет:

— Я так не делаю.

Мужчина продолжает разговор с самим собой. Никто, нет, решительно никто не хочет идти воевать. Может быть, войны и не будет. Но если и будет, не найдется никого, кто хотел бы воевать. За исключением разве что единиц, почти никто не хочет. Даже те, кто уверен, что воюет за правое дело,— они только считают своим долгом воевать. И на свете много добрых людей. Вот эти, что живут в горной усадьбе. И Ула. На земле существует запас или, скажем, преобладает масса доброты. Дружелюбия, отзывчивости, чувства справедливости. Чуть ли не у каждого человека из тех, кого я встречал этим летом, было чувство — так мне казалось,— будто бы весь гнет великих держав лег на его собственные плечи. Тут не подходит ни одна математическая формула.

Этот гнет тревоги, страха перед будущим, беспокойства за судьбу мира может распространяться на множество людей, и все-таки каждый чувствует, будто вся тяжесть лежит на нем. Тяжесть твоего собственного, личного страдания, твоего горя, твоей утраты, твоего чувства бессилия и одиночества ты не можешь возложить на других людей, да это и ни к чему. Но та тяжесть...

Машина останавливается в высшей точке дороги: добрались сюда по крутому серпантину, словно бы раз за разом снова и все с большей отчетливостью оглядывая свое недавнее прошлое. Здесь начинается новая глубокая долина. Далеко внизу, на самом дне, блестит среди крошечных деревьев ручей. Выше отлого поднимаются горные пустоши, кое-где голые, как лунный ландшафт. Легкий ветерок доносит сюда, наверх, слабый шорох сухой травы, растущей за камнями и в ложбинах; но ручей на дне долины пока не слышен.

Они вылезли из машины на край дороги и немного постояли, глядя вниз, в долину. В таком пейзаже человек всегда — или по крайней мере так долго, как можно представить себе его существование на земле, — будет всего лишь деталью, хоть мы и видим здесь следы его титанического труда. Машины и руки выкопали в горном склоне полочку — вот эту дорогу. Насколько хватает глаз, видны ровные ряды серых снегозадержателей: они лентой окаймляют дорогу поверху и кое-где вырисовываются в вышине на фоне неба. Но и они все же остаются лишь мелкими деталями, подобно самому человеку, — узкие линии, которые в конце концов теряются в огромности целого. Не так уж много надо, чтобы стереть человека с лица земли, как будто его на ней никогда и не было.

Но вдруг мужчина снова возвращается на землю: дорога напоминает ту, по которой они шли вдвоем восемь лет назад. Они несли тяжелые рюкзаки. Общая радость помогла им вновь обрести друг друга, и они никогда больше не будут ссориться.

Ночью они спали в горной усадьбе, под тяжелой овчиной. На бревенчатых стенах висели старинные охотничьи ружья.

А над кроватью — яркая цветная открытка с видом какого-то городка в американском штате Иллинойс.

Потом — этим летом, прошедшей зимой — он понял, как велико было его счастье.

Но изменить он ничего не может.

— До чего же здесь красиво, просто на удивление,— говорит Ула.— Сто раз проезжал, а все равно люблюсь. И даже не верится, что на свете есть такая вещь, как война.

Приезжий тоже думал об этом сегодня. От этого не уйдешь. Не уйдет никто. Ни от чего не уйдешь.

Вдруг раздается гул. Высоко в небе они видят самолет. Он летит с запада и снижается, приближаясь к горному массиву. Он летит быстро, целеустремленно, металл искрится и вспыхивает на солнце. Самолет делает широкий вираж и поворачивает на запад, опять делает поворот и возвращается. Теперь он, как орел, кружит высоко в воздухе. Что это за самолет — санитарный, разведывательный, геодезический? Какой бы он ни был, он похож на птицу, на орла с распростертыми крыльями и острым взглядом, выхватывающим нечто здесь, внизу — блестящий глаз озера, дорогу, усадьбу в долине.

— Здесь от бомб было бы мало проку,— говорит Ула по дороге к машине.

Мысль о войне не отпускает ни на минуту.

— Это точно,— подтверждает отец мальчика.

— Разве что,— говорит Ула,— бомба свалилась бы кому-нибудь прямо на голову. Этому человеку бы не поздоровилось. А со своей единственной жизнью никому неохота расставаться.

Да, думает отец мальчика, людям не хочется умирать, и от этого не спрячешься ни за какими фразами. Не выйдет. Можно, например, сказать, что незаменимых нет. Утверждать это очень легко, при этом всегда имеют в виду китайцев или марсиан, а не представляют себе под бомбами себя и своих близких. Возможно, мы и хотим сражаться в великой армии, но только не на том фланге, где будут уничтожены все до единого. Каждая жизнь незаменима!

Каждый человек, дружелюбный и с благими намерениями, составляет существенную часть земного богатства, и заменить его нельзя. Человечество можно сравнить с потоком, который искусные инженеры могут пустить по любому удобному им желобу, или с лесом, прореживаемым искусными лесоводами, но отдельная человеческая жизнь всегда незаменима. Рождается новое, рождаются новые люди, капли падают из облаков и превращаются в потоки, семена разбрасываются ветром и превращаются в леса, но ни одну человеческую жизнь нельзя заменить. Ты никогда не вернешься, милая. Цену тому, что потерял, узнаешь, только когда потеряешь.

Потерял? Нет, ты есть, думает он упрямо, ты и этой осенью вместе с нами. Теперь мы возвращаемся домой. Этой зимой ты тоже должна быть с нами. Этой зимой война будет больше ощущаться, чем прошлой. И потому ты должна быть с нами.

Машина спускается в долину; по ней, постепенно превращаясь в речушку, течет ручеек. Речушка совсем мелкая, камешки на дне блестят в солнечном свете. В одном месте посередине текущей воды стоят двое рыбаков в закатанных до бедер штанах и ловят лосося на длинные бамбуковые удочки. Наживка у них — мухи, хотя на дворе уже осень. Они забрасывают удочки иногда плавными движениями, иногда торопливо, словно хотят успеть поймать как можно больше рыбы, и потому лишь мельком взглядывают на машину, скользящую вверх по горной дороге. Мухи парят в воздухе легко, грациозно, бездумно. Наискосок по другую сторону долины, высоко-высоко, у самого края отвесного обрыва, прилепился маленький серый хутор. Несколько полосок пашни спускаются к тому месту, где видны следы старого оползня. Хутор, олицетворяющий Усердие, и Тяжкий труд, и Храбрость — там, вероятно, все лето стреноживают коров и привязывают маленьких детей, чтобы они не свалились вниз. К этому хутору нет дорог — точка на местности, и все. Есть только крутая тропка, она, петляя, спускается от хутора до брода, а оттуда таким же образом поднимается к шоссе. Нет дорог к этому уединению, лишь тропа, норвеж-

ская горная тропка под названием «Попробуй — проберись». Нет надежды, что из нее когда-нибудь получится торная дорога, но она связывает этих людей и человечество, хутор и мир.

— Им здесь нелегко приходится, — говорит Ула. — Зимой им чертовски трудно. Живут под голой скалой, тут всегда ужасные ветры и снегопады. И до дороги не доберешься из-за снега. Не могут двинуться с места, никуда. — И добавляет, сделав очередной поворот: — Но ведь живут же. Этому хутору по меньшей мере сто лет. А то и все двести.

В сердцевине тяжкого труда, как ядро, кроется надежное душевное пристанище. Надежда, быть может, радость, вера в будущее и — кто знает? — счастье. То самое, которое так невыразимо трудно найти и удержать. Незаменимое.

В таком месте я живу, что никто и не поверит, чтоб там можно было жить.

Мы распевали это много раз каждым летом, когда нам попадались на глаза такие хутора, вспоминает он.

Теперь они уже спустились вниз, в долину, здесь через реку переброшен мост. Они переезжают через мост, справа тянется густой ельник. И сама долина и река стали гораздо шире. Здесь от усадьбы до усадьбы не так далеко, полмили или около того. Попадают совершенно прямые участки дороги.

— Вот сюда они могли бы продвинуться с тяжелой артиллерией, — говорит Ула. — Но не дальше. Хотя, конечно, теперь у них есть самолеты.

— Да.

— Во всяком случае, местность совсем не такая, как в Польше.

Мужчина на заднем сиденье закрывает глаза, как ребенок или старик, который молится. Он видит ее лицо, все еще видит, старается его удержать, они вместе идут по дороге, они вместе сидят в машине, их обоим окружает жизнь, осень, ее ароматы, ее прохладный воздух. А позади — лето, и ничего не случилось.

Содержание

- 5 *К. Мурадян. Эйвинд Юнсон и его путешествия
длинною в жизнь*
- 11 *У Хагелей в цирке. Перевод С. Тархановой*
- 35 *Оскудел силой Бурелль. Перевод С. Тархановой*
- 59 *Дни ее тревоги. Перевод С. Белокриницкой*
- 76 *Зимняя игра. Перевод С. Белокриницкой*
- 94 *На новой дороге. Перевод С. Белокриницкой*
- 101 *Магнус и Улле. Перевод С. Тархановой*
- 109 *Тридцатые годы, канун рождества. Перевод
С. Тархановой*
- 129 *И снова лето — и снова осень. Перевод
С. Белокриницкой*

Юнсон Э.

Ю 56 Зимняя игра: Рассказы/Пер. со швед.
Сост. С. Белокриницкой. Предисл. К. Мура-
дян. — М.: Известия, 1986. — 160 с. (Биб-
лиотека журнала «Иностранная литера-
тура»)

Рассказы, включенные в сборник, отличаются типично скан-
динавским сдержанным колоритом, разнообразием характеров и тем,
гуманистической, демократической направленностью.

Ю $\frac{470300000-046}{74(02)-86}$ 69—86

ББК 84. 4 Шв.
И(Швед)

ЭЙВИНД ЮНСОН

ЗИМНЯЯ ИГРА

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *Т. Иванова*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

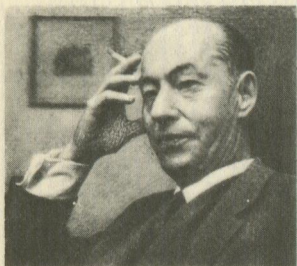
Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1017

Сдано в набор 10.04.85. Подписано в печать 09.09.85.
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Усл.
кр.-отт. 13,3. Уч.-изд. л. 7,54. Тираж 50 000 экз.
Зак № 385. Цена 85 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.



Эйвинд Юнсон

(1900—1976) —

шведский писатель, лауреат Нобелевской премии (1974). Дебютировал сборником новелл "Четыре чужака" (1924).

Широкую известность получил автобиографический цикл "Роман об Улофе" (1934—1937), экранизированный на родине писателя, антифашистские

романы — "Ночные маневры" (1938), "Возвращение солдата", трилогия "Крилон" (1941—1943).

Особое место в творчестве Юнсона занимают мифологические и исторические романы, переведенные на многие языки, — "Гул берегов" (1946), "Тучи над Метапонтом" (1957), "Эпоха его величества" (1960), "Путешествие длиною в жизнь" (1964), "Несколько шагов в тишину" (1973).

В истории, в картинах войны и мира, в драматических человеческих судьбах минувших эпох Юнсон искал ключ к событиям современности, предостерегал от трагических повторений прошлого.

Сборник "Зимняя игра" — первая книга Эйвинда Юнсона на русском языке.

Сюда включены новеллы 30—40-х годов.

В этих новеллах оживает колорит Норботтена — родного края писателя, судьбы и характеры его обитателей.